
ОГОНЁК
№ 18 АПРЕЛЬ 1958
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1 МАЯ

Да здравствует Первое мая!

ВЕСНА ИДЕТ!

Иван РЯДЧЕНКО

Здравствуй, день,
прозрачный, яркий!
Первый луч
скользнул по арке...
И цветы впервые в парке
раскрываются в росе...
Уползает в щели,
тая,
тьма ночей,
как тушь, густая...
Даль,
от света золотая,
в майской,
праздничной красе!

Здравствуй, май!
Тебе мы рады —
металлург
и комбайнёр,
и моряк,
и виноградарь,
и строитель,
и шахтер...

Рады мы,
как встрече с другом,
как рожденью сына —
мать!
Всё у нас
к твоим услугам:
степи вспашешь
новым плугом,
за седым
Полярным кругом
пласт литой
тебе ломать...

Первомай,
скажу без лести:
у тебя широкий шаг.
Не с тобой ли
брали вместе
мы обугленный рейхстаг!..

Видят
всей земли народы,
как на знамени твоем
все сильнее в наши годы
слово «Мир!» горит огнем.

Песня утра молодая,
солнца вечного восход,
от Тираны до Китая
вас приветствует народ.

Колос вырастим тяжелый!
Под листвой созреет плод!
Пусть же труженицы-пчелы
отправляются в полет!

Пусть кует кузнечик лето!..
Пусть поет в мартене сталь!..
Над тобой, моя планета,
пусть сияет мирно даль!..

Пусть уходят тучи в страхе,
озираясь на восход...
Прочищайте горло, птахи!
Славьте утро!
Май идет!

Одесса.

Трактор

Федор БЕЛКИН

Пришел с завода на колхозный двор.
Под красной майкой — мускулы литые,
Завел с людьми железный разговор —
И кони чуть попятились гнедые.

А он пошел... Хозяйством овладел,
Согрел крестьянам и сердца и души,
И фарами с улыбкой поглядел
На сани, хомуты и волокуши.

Как будто высказал: помочь хочу,
Привык к труду, и холоду, и зною...
И тракторист похлопал по плечу
Его своею теплой пятернею.

А трактор по-хозяйски пробасил,
Зарокотал и занялся делами...
Он не жалеет лошадиных сил,
В нем взнузданных стальными удилами.

Здравствуй, советский человек!

ТЕН МУН ХЯН

Я его узнаю, если встречу.
Просто руки положу на плечи.
С незнакомым,
только не чужим,
Мы в одной землянке жили с ним.

Смерть не раз мне в жизни угрожала,
Впроголодь — и риса и пшена.
Он же улыбался мне с журнала.
Снимками из этого журнала
У меня оклеена стена.

Осень. Вечер.
Дом под красной крышей.
Волны ржи высокой вдалеке.
В центре — он,
Из дома только вышел
С самокруткой в жилистой руке.

Вышел, стал и улыбнулся просто...
И улыбка мне его была
Обещаньем: будет рис и просо,
Только бы уверенность была!

Я его узнаю, если встречу
(Встречами богат двадцатый век!).
Просто руки положу на плечи:
Здравствуй, друг, советский человек!

Перевел с корейского
Анатолий ЛЕДНЕВ.

ВОЛГА

Теофилис ТИЛЬВИТИС,
народный поэт Литовской ССР

Жигули синевою омыты от края до края,
Тучек сизых гряда над холмами прошла.
Белопенная Волга глядит на высокие сваи,
Ей стальные готовятся здесь удила.

Мы берем тебя в руки уже наяву, а не в сказке.
Так хотим, поработаешь славно для нас.
Разве можно сравнить отошедшего прошлого краски
С блеском новых, которыми ты так богата сейчас!

Солнце полдня стоит над широкой рекою,
До чего величаво-игрива она! Благодать!
Русский конь, белогривый и быстрый, не зная покоя,
С нами в завтра летит — никому его не догнать.

Дон погнался за ним, и Урал поспешает. Скорее!
Мчится синяя тройка. Всё с пути ее прочь!
Волга трудится в зной и зимой — жаркий труд ее греет
Ночь и день, день и ночь.

Мы ее запрягли навсегда в колесницу победы.
Скачет, пенится... Жить ей на весь трудовой разворот!
Смело катятся воды сквозь годы, что в песнях воспеты,
Как народ повелел, лишь в грядущее, только вперед.

Перевел с литовского
Лев ОЗЕРОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОГОНЁК

№ 18 (1611)

27 АПРЕЛЯ 1958

36-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



Советский народ, все прогрессивное человечество торжественно отметили 88-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина — основателя Коммунистической партии и Советского государства, вождя и учителя рабочего класса, трудящихся всех стран.

В Москве, в Большом театре СССР, 22 апреля состоялось торжественное заседание партийных, советских и общественных организаций столицы. С докладом о 88-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина выступил секретарь ЦК КПСС товарищ П. Н. Поспелов.

22 апреля в Москве, на Красной площади, побывали тысячи взрослых и детей — москвичи и приехавшие в столицу гости. Московские пионеры провели у Мавзолея торжественные линейки, возложили цветы и венки.

На снимке: торжественная линейка пионерской дружины 336-й школы Бауманского района. Пятиклассница Таня Вахромеева читает стихи о Ленине.

Фото И. Тункеля.

БРАТСКАЯ ВСТРЕЧА



Варшава. На всем пути от вокзала до резиденции товарища К. Е. Ворошилова и сопровождающих его лиц приветствовали жители польской столицы.

Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА, специального корреспондента «Огонька»

Варшава, Новая Гута, Краков, Лодзь, города и селения Польской Народной Республики по-братски встречают дорогих гостей — К. Е. Ворошилова и сопровождающих его товарищей: Е. А. Фурцеву, К. Т. Мазурова, С. В. Червоненко, А. Ю. Снечкуса, В. П. Елютина, Н. С. Патоличева, П. А. Абрасимова. Гости встречались с шахтерами и металлургами, с интеллигенцией и молодежью, и всюду им был оказан горячий, сердечный прием, всюду выражались чувства братской дружбы к советскому народу.

Поездка Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища К. Е. Ворошилова и сопровождающих его лиц в Польшу явилась новым серьезным вкладом в укрепление братской дружбы советского и польского народов. Вместе с тем она служит укреплению единства всех социалистических государств.



На металлургическом заводе имени Феликса Дзержинского в Домброве-Гурничей.



А. Ю. Снечкус, С. В. Червоненко, К. Т. Мазуров и Е. А. Фурцева в одной из комнат королевского замка Вавель.

В. Краковском музее В. И. Ленина.

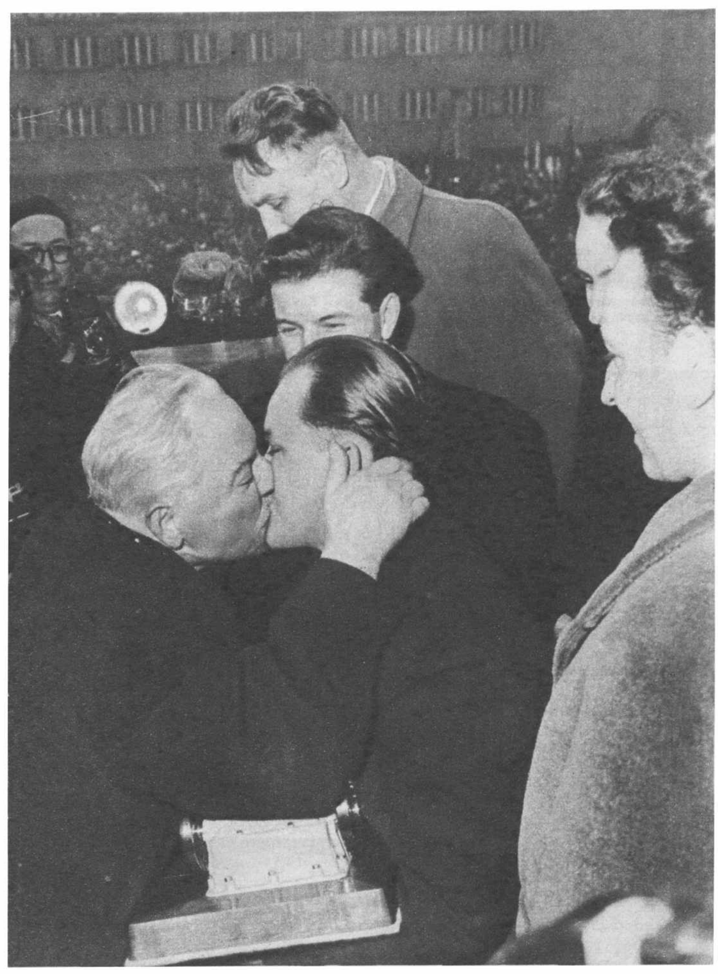






17 апреля К. Е. Ворошилов и сопровождающие его лица нанесли визит Председателю Государственного совета Польской Народной Республики А. Завадскому, первому секретарю Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии В. Гомулке и Председателю Совета Министров Польской Народной Республики Ю. Циранкевичу. На снимке (слева направо): С. В. Червоненко, Ю. Циранкевич, Е. А. Фурцева, В. Гомулка, К. Е. Ворошилов, А. Завадский.

← Горняки шахты «Вуек» присвоили товарищу Ворошилову звание Почетного шахтера своей шахты и вручили ему шахтерские мундир, головной убор, обушок и горняцкую лампу.



К. Е. Ворошилов благодарит рабочих города Катовице за подарки.

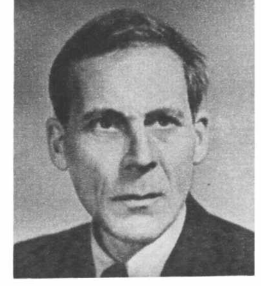


Жители города Ченстохова провожают поезд с советскими гостями, направляющийся в Катовице.

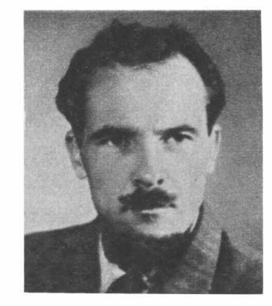
Краков. К. Е. Ворошилова и сопровождающих его лиц встречают дети в национальных костюмах.



ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ

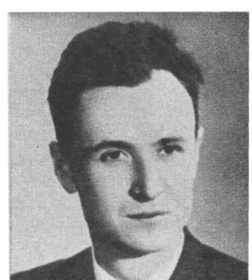




Л. А. АРЦИМОВИЧ. М. А. ЛЕОНТОВИЧ. С. Ю. ЛУКЬЯНОВ. И. Н. ГОЛОВИН. С. М. ОСОВЕЦ. Н. В. ФИЛИППОВ.

О. А. БАЗИЛЕВСКАЯ. С. И. БРАГИНСКИЙ. И. М. ПОДГОРНЫЙ. А. М. АНДРИАНОВ. В. И. СИНИЦЫН. Н. А. ЯВЛИНСКИЙ.





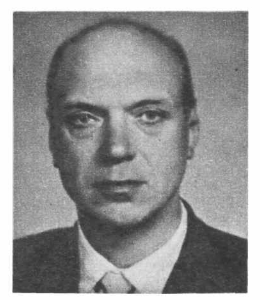


Премия присуждена за исследования мощных импульсных разрядов в газе для получения высокотемпературной плазмы.









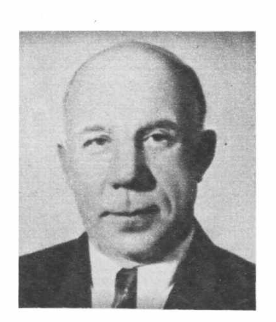
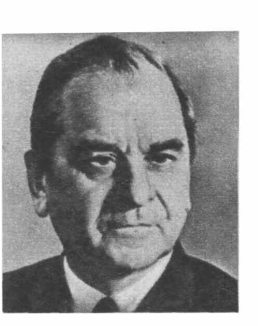

Г. А. РАЗУВАЕВ.
Премия присуждена за исследования в области химии свободных радикалов в растворах.

Н. М. ЭМАНУЭЛЬ.
Премия присуждена за исследования свойств и особенностей цепных реакций.

А. Г. БЕТЕХТИН. А. Н. ЗАВАРИЦКИЙ. Д. С. КОРЖИНСКИЙ. В. А. НИКОЛАЕВ.

Премия присуждена за исследования, изложенные в монографии «Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях».



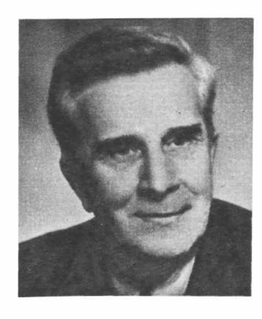
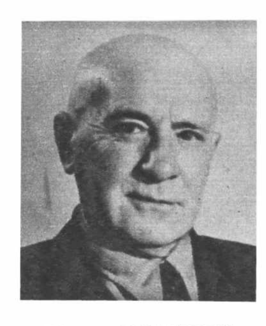
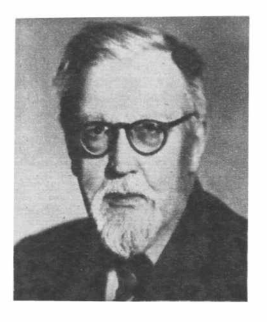





В. Н. КЕДРИНСКИЙ. А. А. БАРСУКОВ. Д. А. ЗАХАРЬЕВ. Д. А. ЗАГРЯЗКИН.

Премия присуждена за разработку конструкции и промышленное освоение гаммы высокопроизводительных автоматизированных станков для обработки конических зубчатых колес.

М. П. КОСТЕНКО. В. А. ВЕНИКОВ.
Премия присуждена за создание электродинамических моделей для практических исследований мощных энергосистем, линий сверхдальних электропередач, энергоустановок и аппаратуры электрических станций.




Н. Н. БОГОЛЮБОВ.
Премия присуждена за разработку нового метода в квантовой теории поля и статистической физике, приведшего, в частности, к обоснованию теории сверхтекучести и теории сверхпроводимости.

М. И. БУДЫКО.
Премия присуждена за научные труды «Тепловой баланс земной поверхности» и «Атлас теплового баланса».

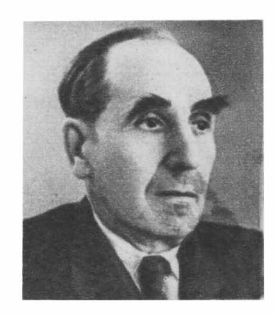
Н. С. ШАТСКИЙ.
Премия присуждена за научное руководство составлением тектонической карты СССР и сопредельных стран в масштабе 1 : 5 000 000.

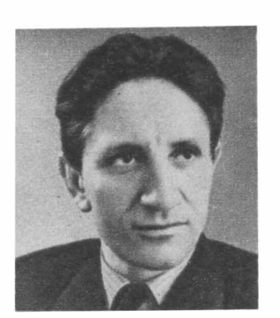
К. П. ГОРШЕНИН.
Премия присуждена за научный труд «Почвы южной части Сибири».

С. Г. СТРУМИЛИН.
Премия присуждена за научный труд «История черной металлургии в СССР», т. 1.

Я. М. ЭНДЗЕЛИН.
Премия присуждена за исследования в области балтийской филологии, изложенные в научном труде «Грамматика латышского языка».








И. П. БАРДИН. Н. Н. СМЕЛЯКОВ. Н. Л. КОМАНДИН. К. П. КОРОТКОВ.

Н. П. МАЙОРОВ. А. В. ХРИПКОВ. М. Д. ГРИЦУН. Г. В. ГУРСКИЙ.

Я. Я. ГУМЕННИК. М. С. КОВАЛЬЧУК.
Премия присуждена за создание скоростного проходческого комбайна «ПКГ» для проведения подготовительных выработок и нарезных работ в пологопадающих пластах средней мощности.





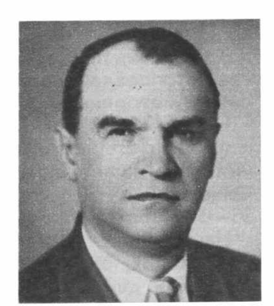


Премия присуждена за создание первых промышленных установок непрерывной разливки стали.

М. К. АНИКУШИН.
Премия присуждена за памятник А. С. Пушкину в Ленинграде.

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ.
Премия присуждена за Одиннадцатую симфонию «1905 год».



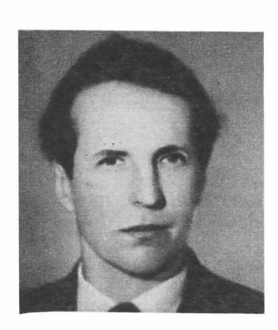





Е. А. ИГНАТЧЕНКО. Г. В. РАЕВСКИЙ. Е. К. АЛЕКСЕЕВ. В. М. ДИДКОВСКИЙ.

О. М. ИВАНЦОВ. В. С. КОРНИЕНКО. В. С. ЛЯХОВ. Б. В. ПОПОВСКИЙ.

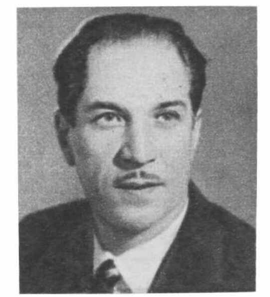
Г. А. ТОВСТОНОГОВ. Ю. В. ТОЛУБЕЕВ.
Премия присуждена за спектакль «Оптимистическая трагедия» в Ленинградском государственном академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.






Премия присуждена за разработку и внедрение индустриального метода строительства нефтерезервуаров из плоских полотнищ, сворачиваемых в рулоны.

В. М. ЧАБУКИАНИ.
Премия присуждена за постановку балета «Отелло» и исполнение роли Отелло в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени З. Палиашвили.



ПАМЯТНИК НА ПЛОЩАДИ ИСКУССТВ

Белоснежные облака на весеннем бледно-голубом небе Ленинграда. И кажется: плывут они над самой головой бронзовой фигуры великого поэта, возвышающейся на розовом гранитном постаменте.

Менее года прошло с тех пор, как в сквере на площади Искусств вырос монументальный памятник А. С. Пушкину. Но ленинградцы успели полюбить этот монумент, так хорошо вошедший в ансамбль площади: белоколонный фасад Русского музея, здания театра и филармонии словно обрамляют его.

Много лет вдохновенного труда отдал ленинградский скульптор Михаил Константинович Аникушин созданию этого монумента. В 1937 году, когда отмечалось столетие со дня смерти поэта, Аникушин, тогда еще студент института имени Репина, выполнял ученические эскизные проекты скульптуры Пушкина. А в 1950 году молодой скульптор, участвуя в конкурсе проектов памятника Пушкину, одержал первую победу. Разработанную им фигуру поэта признали лучшей. После этого прошло еще несколько лет упорной работы...

И вот памятник А. С. Пушкину отлит из бронзы на заводе «Монументскульптура» и в дни, когда Ленинград отмечал свое 250-летие, установлен на площади Искусств.

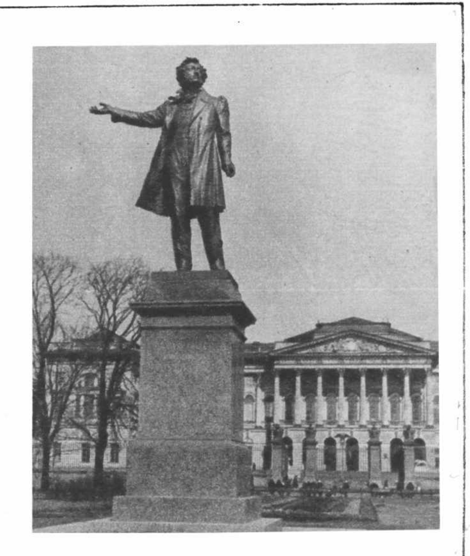
Михаил Константинович Аникушин взволнован высокой оценкой его труда. «Присуждение мне Ленинской премии вдохновляет на еще более высокие, смелые дерзания»,— говорит он.

Мы беседуем со скульптором в его мастерской. Множество скульптур кругом. Их автор рассказывает нам о своих творческих замыслах. Вот фигура рабочего, а это памятник великому артисту Ю. М. Юрьеву, это группа участников фестиваля, но главное — создание монументального памятника гению человечества В. И. Ленину.

Скульптор участвует в конкурсе на создание памятника В. И. Ленину, который будет сооружен у ворот Ленинграда — на площади Восстания, перед фасадом Московского вокзала.

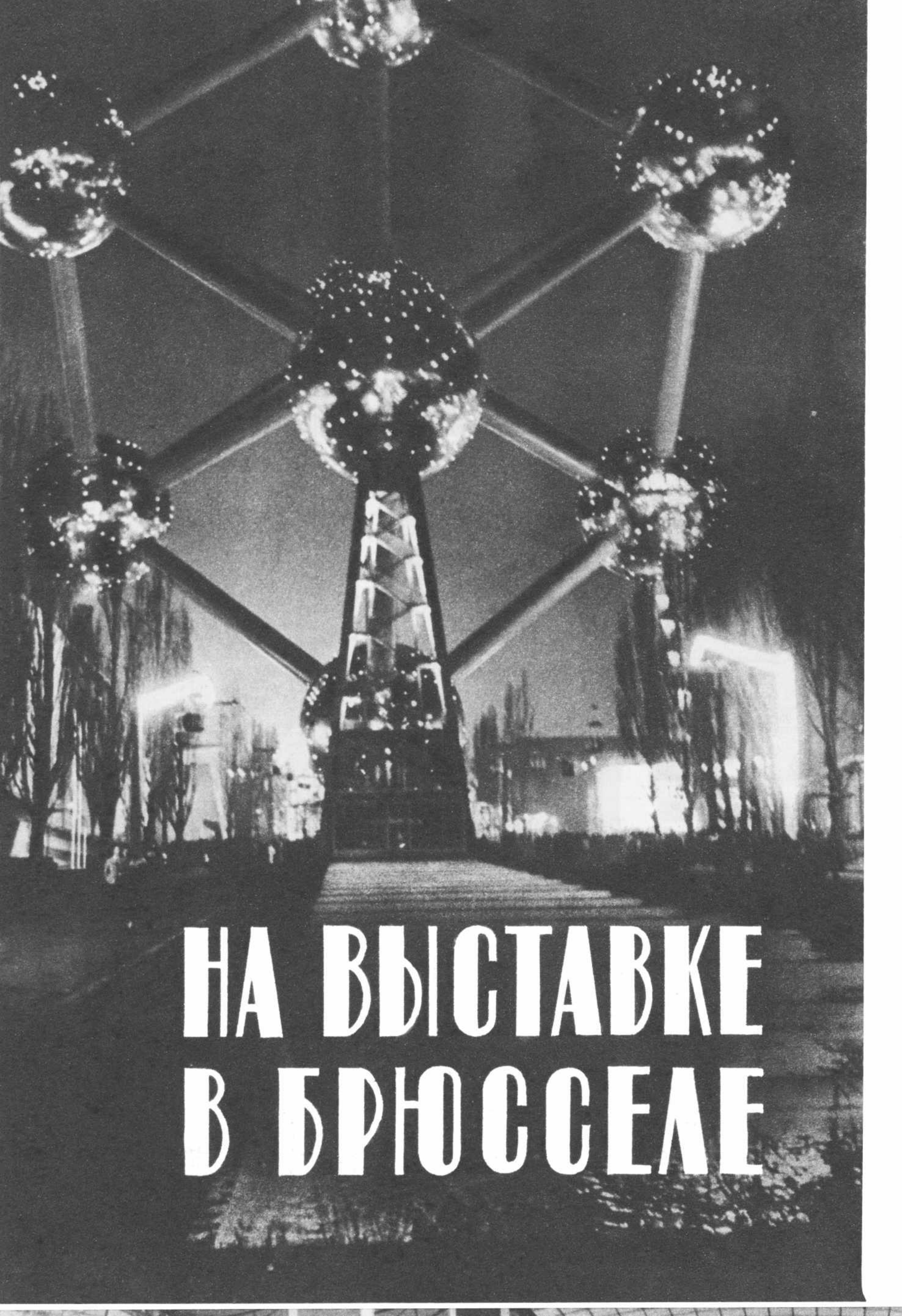
К. ЧЕРЕВКОВ

Фото Б. Уткина.



Андрей НОВИКОВ,

специальный корреспондент «Огонька»



НА ВЫСТАВКЕ В БРЮССЕЛЕ

← Атомиум ночью.

В Брюссельском аэропорте пассажиры со всех концов света до отказа заполнили таможенный зал. В шуме разноязыкой толпы едва слышен голос охрипшего полицейского, регистрирующего паспорта. Измученные таможенники ставят мелом пометки на чемоданах. Приезжие размещаются в отелях, на частных квартирах и даже на территории Франции, близ бельгийской границы.

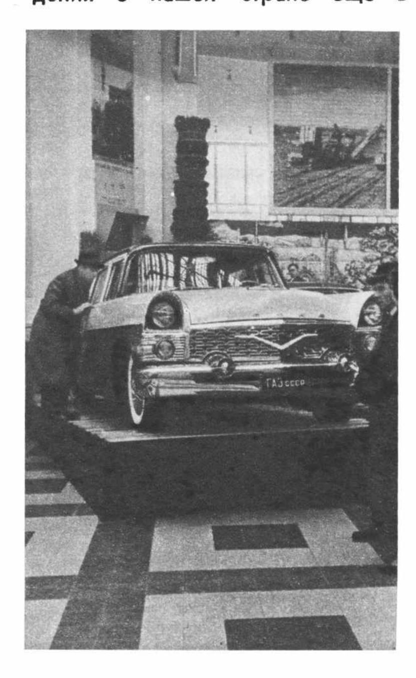
По автострадам, эстакадам, сквозь тоннели мчатся автомобили бесчисленных марок. Полицейские в ярко-желтых плащах и белых касках с великим трудом дирижируют этим потоком.

В парке Хейсель, на территории в 200 гектаров, раскинулись 150 павильонов. В них показывают свои достижения 54 страны. В центре выставки поблескивает своими гигантскими шарами 102-метровый Атомиум, изображающий структуру элементарного кристалла железа-альфа, увеличенную в 150 миллиардов раз. По воздуху плывут кабинки подвесной дороги, по проспектам мчатся автопоезда, среди прохожих снуют моторикши.

Не все павильоны еще открыты. Но город стекла, стали и алюминия уже живет шумной жизнью. Ожидают, что выставку посетят 35—50 миллионов человек.

На выставке масса движущихся, прыгающих, шагающих моделей; они сами дают о себе все сведения, воспроизводимые с магнитофонной записи. Но вот возле павильона Великобритании на лужайке, покрытой чахлым дерном, пасутся овцы. Они что-то жуют и меланхолично блеют. Зрители долго всматриваются в них, прежде чем убеждаются, что это не очередная модель с электронным управлением.

Среди толп посетителей, стрекочущих кино- и фотокамер я встретил журналиста, с которым мы виделись на нескольких международных совещаниях. Я узнал этого представителя «Запада», вспомнил его надменные рассуждения о нашей стране еще в



Посетители осматривают советскую автомашину «Чайка».

те времена, когда только зарождался «дух Женевы».

— Сперва пойдем в павильон Америки,— предложил он,— потом в ваш.

Я согласился. Американский павильон — огромный цилиндр из плексигласа и металла. Внутри зеленеют деревья, в центре — бассейн. Мы осматриваем предметы обихода, медицинское оборудование. Порой я перехватываю взгляд своего спутника, он наблюдает за моими впечатлениями.

— Ну как? — восклицает он, показывая на манипулятор (механические руки), который применяют в физических лабораториях.

— У нас это есть.

— А это?

Куски железа и меди разных форм, некоторые окрашены под бронзу. Современная американская «скульптура»! Посетители в недоумении стоят возле этих «шедевров» и, ничего не поняв, наклоняются к дощечкам с надписями...

Усталые девушки в центре павильона демонстрируют туалеты — от весьма откровенных купальных костюмов до меховых шуб. Вокруг молча стоят зрители. Мы проходим мимо экранов цветных телевизоров. Изображение вполне удовлетворительно, и цвета близки к натуральным...



В павильоне СССР.

В небольшом отдельном круглом здании на одиннадцати экранах, расположенных по кругу, одновременно вспыхивают изображения. Перед нами залив Гудзона; он справа, слева, сзади. Зрители непрерывно вертятся во все стороны. Серкльрама — так называется новый кинематографический аттракцион, несомненно, любопытный...

— Теперь пойдем в павильон СССР,— предложил мой собеседник.

С первых же минут открытия павильона Советского Союза его осаждают тысячи посетителей. Едва мы входим, как представитель «Запада» многозначительно подымает палец: он услышал сигналы первого в мире искусственного спутника Земли. Мы с трудом протискиваемся среди людей, плотным кольцом окруживших модель второго спутника. Потом «западник» долго смотрит на портреты собак, летавших в ракетах в верхние слои атмосферы.

...Большая толпа возле автоматических станков, работающих по заданной программе. Зрители, не отрываясь, следят, как подаются детали, обрабатываются, передаются дальше.

Увидев модели пассажирских самолетов конструкции Туполева, Ильюшина и Антонова, мой спутник спрашивает:

— Только модели?

— Нет. Вот рядом — фотографии этих самолетов на аэродроме.

Мы идем мимо глядящих ввысь труб телескопов; лучи солнца играют в сложнейших оптических приборах. Идем мимо палаток полярников, вдоль разложенных мехов, возле которых восторженно ахали богатые дамы. От огромного шоколадного шара на стенде пищевой промышленности мой собеседник отковырнул кусочек. Шар весит 127 килограммов, и его наверняка хватит надолго... Долго он любовался огромной белугой, банками с икрой.

Вокруг нас бесконечным потоком движутся люди. Испанская, немецкая, французская, фламандская речь слышится вокруг. На лице у «человека Запада» раздумье.

— Может быть, снова встретимся в Женеве? — говорит он, прощаясь...

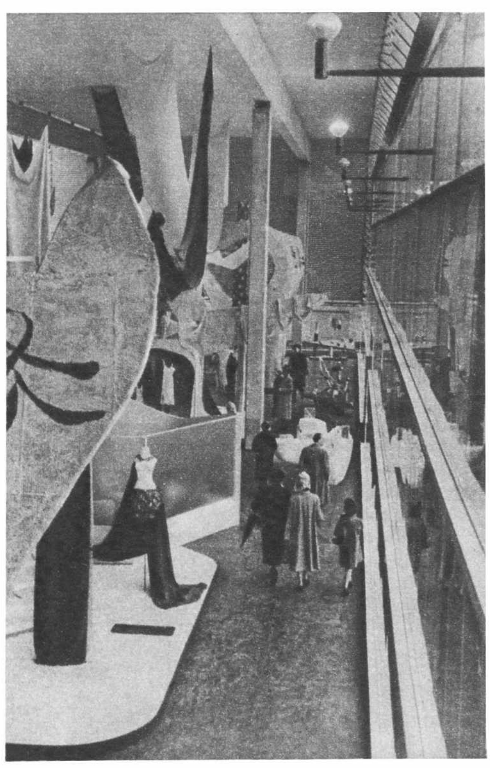
Миллионы огней загораются по вечерам на выставке. Неоновый свет скачет, прыгает, вертится, сверкает тысячами оттенков. Выставка, призванная помочь людям ближе узнать друг друга, рассказать о том, на что способен человеческий разум в наш век, продолжает свое полезное дело.



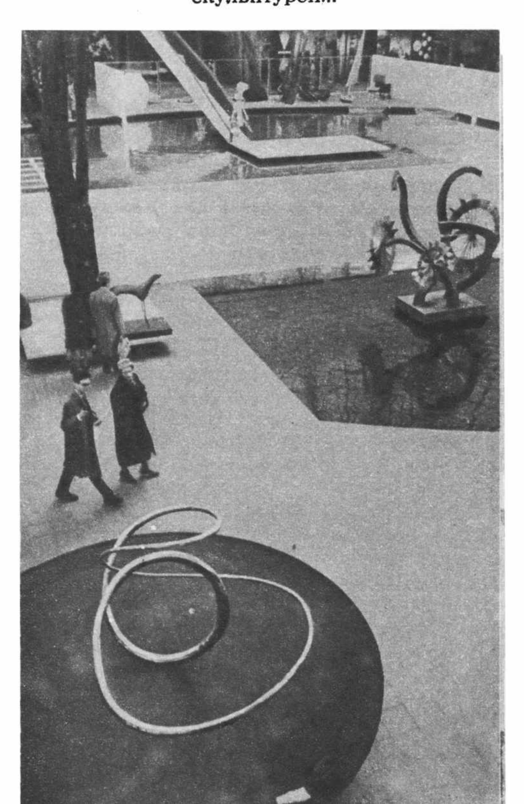
У модели второго искусственного спутника Земли всегда толпа.



→ В зале проводится пресс-конференция. Это еще далеко не все журналисты, съехавшиеся в Брюссель.

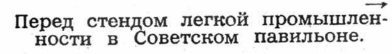


В павильоне Бельгии.



В павильоне США. Это называется скульптурой...





→ Перед стендом легкой промышленности в Советском павильоне.

ПОД РАБОЧИМ ЗНАМЕНЕМ

Уильям ГАЛЛАХЕР,
президент Коммунистической партии Великобритании



Уильям Галлахер.

Редакция «Огонька» просила меня рассказать о рабочем движении и первомайских праздниках в моей стране в прошлом и настоящем. Это вернуло меня к дням моей юности, на пятьдесят лет назад.

Моя политическая работа (до того, как была создана в 1920 году наша коммунистическая партия) протекала главным образом в Шотландии, в Глазго.

В Глазго, как и в других шотландских городах, мы создавали объединенные комитеты по празднованию майского дня. В комитеты входили представители тред-юнионов, кооперативных обществ, различных социалистических партий, тогда в большинстве оппортунистических или сектантских. Но все эти организации были готовы принять участие в общей пролетарской демонстрации за социализм и международное рабочее братство.

От площади Джордж-сквэр в центре города шествие направлялось по главным улицам к какому-нибудь парку, всегда в сопровождении большого эскорта полиции. Здесь у каждой из групп, участвовавших в демонстрации, была своя трибуна и свои слушатели. Как правило, таких трибун было семь или восемь, с каждой выступало три — четыре оратора.

Но каждый год, помимо этих трибун, воздвигалась еще одна, с которой всегда имел честь выступать и я,— Интернациональная трибуна. Ораторы, произносившие речи с этой трибуны, жили постоянно в Глазго, но в большинстве это были эмигранты из различных частей царской России.

В заранее назначенное время — в четыре часа — одновременно со всех трибун зачитывалась резолюция, в которой рабочие Глазго приветствовали борющихся рабочих всех стран. Резолюция вызывала мощный одобрительный отклик в массе собравшихся.

В 1914 году, когда началась первая мировая война, наступило время тяжелых испытаний для всех нас. На предприятиях Глазго мы, несколько человек из разных партий, положили начало движению цеховых старост, а затем вскоре создали комитет рабочих Клайда[1]. Он сыграл важную роль в борьбе против империалистической войны и в укреплении революционных настроений среди рабочих. Я был избран председателем этого комитета.

В начале 1915 года мы сумели организовать двухнедельную забастовку против войны, а позже в том же году — демонстрацию рабочих и домашних хозяек против повышения квартирной платы. Ничего подобного раньше в Глазго не происходило: множество демонстрантов на улицах, весь Глазго был охвачен брожением. Правительство было вынуждено прислать сообщение, что закон об ограничении квартирной платы будет немедленно поставлен на обсуждение палаты общин.

Наступил 1917 год, грянула Великая Октябрьская социалистическая революция. Печать изливала тогда потоки клеветы и лжи на большевиков, но огромное большинство наших рабочих твердо знало главное: русские рабочие взяли власть, свергли класс капиталистов и теперь энергично готовятся к тому, чтобы покончить с войной и взяться за социалистическую перестройку общества. Призыв советского правительства о заключении мира без аннексий и контрибуций, опубликование секретных договоров — все это было встречено рабочими Глазго с восторгом. Многолюдные митинги каждый вечер высказывались в поддержку Советской России.

Демонстрации следовали одна за другой и в 1918 году — против империалистической войны, в поддержку советских мирных предложений.

В этой обстановке было решено призвать рабочих провести майскую демонстрацию не в ближайшее воскресенье, как это бывало у нас обычно, а в самый день 1 Мая. В этот год первомайский праздник пришелся на среду. Это означало, что придется прекратить работу на предприятиях. Комитет рабочих Клайда обратился к цеховым старостам с предложением сделать все, чтобы не только приостановить работу, но и призвать выйти на улицу как можно больше рабочих.

Мне трудно забыть тот первомайский день. Демонстрация в Глазго превзошла все, что было до тех пор. Джордж-сквэр, где собрались демонстранты, и прилегающие к этой площади улицы были сплошь заполнены толпами людей. Колонна за колонной проходили рабочие по площади, играли оркестры, развевались флаги, не смолкали возгласы против империалистической бойни. Это был подлинный смотр боевой мощи рабочего класса.

1919 год... В январе этого года не раз выходили на улицы все рабочие Клайда,— они забастовали и требовали сорокачасовой рабочей недели. Запомнилась демонстрация в пятницу 31 января. Рабочие, пройдя по городу, собрались на Джордж-сквэр, где расположены муниципальные учреждения. Здесь на демонстрантов напала полиция, и началось жестокое избиение. Мне тоже досталось изрядно от полицейских; как у нас говорят, «голова была в крови, но не кланялась». Рабочим удалось оттеснить пешую и конную полицию; казалось, дело идет к тому, что город окажется в руках рабочих. Но на следующий день в Глазго срочно были доставлены молодые новобранцы из Англии с танками, пулеметами и прочим военным снаряжением. В Лондоне поползли слухи, что в Глазго началась революция. Увы, это было не так. Все руководители рабочих были арестованы и уже находились в тюрьме. Но столкновения в городе с полицией и войсками продолжались еще добрых две недели.

Причиной слабости движения было то, что отсутствовала боевая партия рабочего класса. Сам я был членом британской социалистической партии, несколько человек из нашего комитета — членами социалистической рабочей партии, другие принадлежали к независимой рабочей партии. В комитет входили марксисты и немарксисты, и нам не удавалось выработать общую политику в сложной обстановке, которая возникла в конце войны. Я, как председатель комитета рабочих Клайда, тоже не был свободен от сектантских настроений; я избавился от них только после того, как побывал на Втором конгрессе Коммунистического Интернационала, где встретился и говорил с товарищем Лениным.

Наши слабости, упомянутые выше, были причиной того, что поле политической деятельности осталось в основном за оппортунистами. В 1919 году майский праздник вновь отмечался в первое воскресенье мая. Так это и осталось.

С тех пор, как была создана коммунистическая партия, наши колонны в первомайской демонстрации всегда бывали самыми красочными, самыми воодушевленными. Вокруг нашей трибуны всегда собиралось самое большое число слушателей, и слушали они нас с энтузиазмом...

Шли годы. Умолкли пушки второй мировой войны, западные империалисты начали «холодную войну» против лагеря социализма. Лейбористские лидеры решили окончательно выхолостить революционное значение первомайского праздника, даже ликвидировать сам праздник. В некоторых городах Шотландии они просто перестали устраивать первомайские демонстрации. Не существовало уже и общего комитета по проведению международного пролетарского праздника. Совет профсоюзов, находящийся в руках оппортунистов, вынес решение: в день первомайского праздника будет устанавливаться только одна трибуна, ораторов для выступлений будет назначать совет, и только одна резолюция, подготовленная советом, будет предлагаться с этой единственной трибуны. Так правым лидерам удалось расколоть общую рабочую майскую демонстрацию. В течение нескольких лет в Глазго устраивались две демонстрации.

«Официальная» демонстрация двигалась первой, а потом, через полчаса, начиналась демонстрация рабочих под знаменами коммунистической партии. Вдоль улиц в день праздника выстраивается много народа — посмотреть на «официальную» демонстрацию; но эти толпы всегда остаются ждать, когда будет проходить вторая демонстрация.

Наши товарищи — рабочие, молодые и старые,— выходили на улицы с яркими цветами, красными знаменами и транспарантами, боевыми лозунгами и плакатами. Над всем этим веял дух международного товарищества рабочих, каким создавал его Маркс, подлинный дух революционного пролетарского интернационализма, дух единства.

И вот в прошлом году борьба за единство одержала первую победу. Трудящиеся Глазго, как не раз в прошлом, вновь показали пример всей Англии: впервые после шести лет они провели единую майскую демонстрацию.

В день первомайского праздника мы клянемся в верности международной солидарности рабочих, отмечаем новые успехи в борьбе за единство рабочего класса, за прочный мир для всех народов, за социализм.

---

[1] Клайд — промышленный район в Шотландии.

Желаем вам счастья!

Фото И. ТУНКЕЛЯ.

Уютно в загсе Киевского района Москвы. Там все сделано для того, чтобы вступающие в брак молодые люди чувствовали себя радостно, чтобы их торжество ничем не омрачалось.





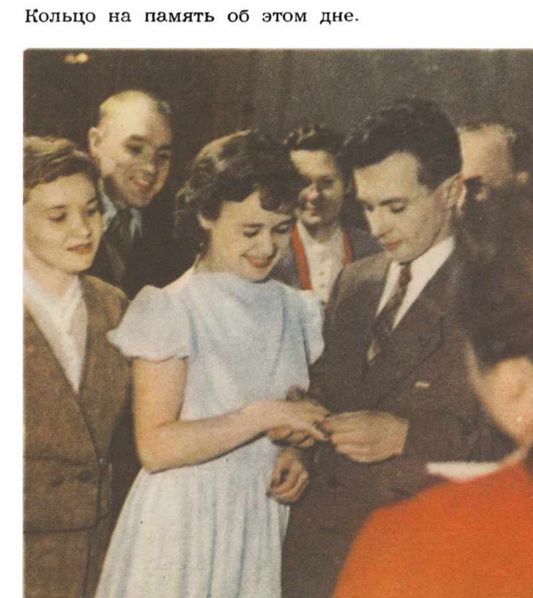
Они волнуются: «Сейчас и нам идти».



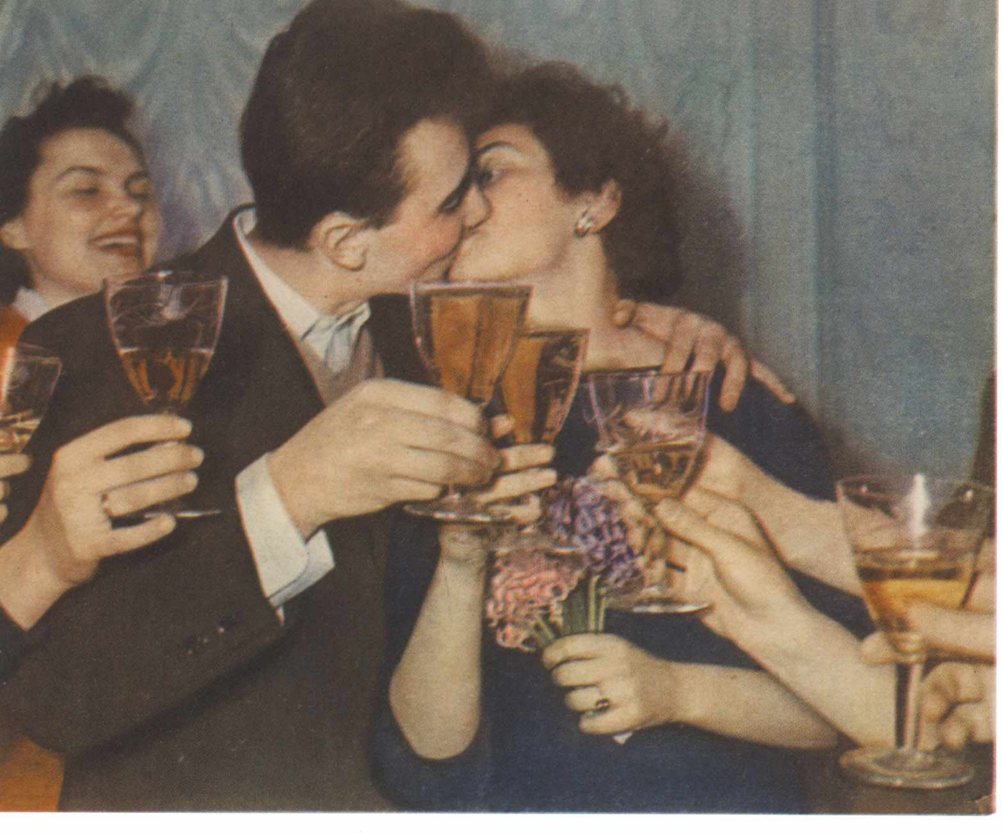
Последние приготовления.



— Осторожно. Смотри, не посади кляксу.



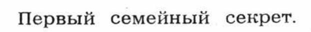
Кольцо на память об этом дне.



Звенят бокалы в честь торжества...



— Поздравляем от души.



Первый семейный секрет.







МУШОИРА́

ЗУЛЬФИЯ

Уже пришла вечерняя пора,
Сошла жара.
Идите к нам: у нас мушоира́,
Мушоира̀!

Здесь близким друг становится далекий,
Здесь праздник мастерства,
Здесь рифмы соревнуются, и строки,
И чувства, и слова.

Чьи краски ярче? Глубже описанье?
Чья речь остра?
Звенит, гремит поэтов состязанье —
Мушоира̀!

Для цветника поэзии восточной,
Для звонкого созвучья, мысли точной
Не нужен пышный или душный зал:
Поэт, придя сюда, с собою взял
Лишь песню, песню Нила или Ганга,
И только удивительный навес
С плодами нарисованными манго
Слегка нас отделяет от небес.

И вечер, голубей Бенгальского залива,
Нас окружает с четырех сторон,
И в блеске звезд, вдали горящих
горделиво,
Свет наших ламп чудесно повторен.
А ветерок приносит с побережий
То запах трав, пронзительный и свежий,
В котором есть вечерняя роса,
То песню девушек индийских,
То птиц неведомых, но близких
Пленительные голоса.

Вы вдохновенья слышите приказ?
Веленье смелого пера?
Друзья, идите к нам, идите к нам: у нас
Мушоира̀!

На возвышении, украшенном ковром,
Что радугу напомнил бы по цвету,
Своим душевным делятся добром
Все те, кто к правде тянется и свету.

Да, в этом поэтическом саду
Есть малые цветы и мощные чинары.
Но вижу я: сейчас и молодой и старый —
В одном строю, в одном ряду.

Обычаи Востока строги,
И в Индии мы их нарушить не хотим:
На радуге-ковре, скрестивши ноги,
Хозяева и гости, мы сидим,

И обувь разноцветная у входа,
Что сняли мы, когда сюда пришли,
Напоминает нам: так вот следы земли,
Где труд, где слава каждого народа!

Индийские сандалии видны
С подошвой деревянной из сандала.
Искусная рука их создавала
Умельца этой сказочной страны,
И если путешествовать я стану,
Надену их, пойду по Индостану!

Они явились из различных стран:
Ботинки эти сделаны Багдадом,
На этих — пыль Китая, а Иран
С Цейлоном оказался рядом,
Монгольский сапожок — с пенджабским
каблучком...
Невольно обвожу я взглядом
Те туфли, что моим пошиты земляком,
Ташкентским мастером Ахмадом.

Благодарю тебя от всей души,
Сосед, твои изделья хороши!
И, может быть, сапожник из Кашмира
С тобою соревнуется, мой друг,
Во имя изобилия и мира
И тоже входит в наш звенящий круг.

Седоволосый, с юными глазами,
Что помнят Индию, облитую слезами,
Что видят радостный ее расцвет,
У микрофона встал поэт,
Старейший в нашем состязанье,
Его участник и глава...
К чему певцу иносказанье?
Текут в душе рожденные слова,
В которых — воля и дерзанье.

Язык находят общий мастера
В такие вечера.
Идите к нам: у нас мушоира̀,
Мушоира̀!

Моя подруга, соловей Пенджаба,
Своим стихом вторгается в сердца.
Пусть нежен стих, — нет, не звучит
он слабо,
В нем сила матери и честь борца...

Читал стихи Вьетнам, читал Непал,
Читал таджик, и русский друг читал.

Чем были строфы ярче, задушевней,
Звенели чище и напевней,
Тем становились ближе нам, сродни,
Сливались в карту Азии они
И Африки великой, древней.

И ветры, вырывая из сердец
Созвучья, уносили их далёко,
И Запад к миру звал певец
И счастье возвещал земле Востока.

С поэтов сикхи не сводили глаз —
Богатыри, что в битвах тверже стали.
Как пламя черное, их бороды сверкали.
Бенгальцы слушали с волненьем нас,
В одежды белоснежные одеты...

Всё новые и новые поэты
Нам поверяли думы и мечты.
Стихи вставали, как мосты
Для нашей дружбы, нашего сближенья —
Мосты любви и уваженья,
Мосты народной красоты.

О вечер Индии! О песен упоенье!
Неотделим от слушателя чтец,
И кажется: биенья всех сердец
Слились в одно сердцебиенье!

Друзей и близких славный круг
Уже в моей душе все шире, шире.
Сын Африки запел о мире,
И я почувствовала вдруг,
Как много вынес он, надеясь и страдая,
В боренье закалив слова свои,
И потому в глазах горит любовь святая,
Что солнце у него в крови...

Ты весть о хлебе, благе и покое,
Не шутка, не игра.
Ты жизнь сама! Входи во все живое,
Мушоира̀!

Ты всех зовешь, кто строит, пашет,
Забойный поднимает молоток,
Захочет — землю тканью опояшет,
Кто суть поэзии, душа ее, исток.

Они творят в ином, прекрасном роде,
Стихи не часто входят в их жилье,
Их книги — жаркая любовь к свободе,
Их вдохновенье — битва за нее.

Пусть примут все, кто трудится, участье
В соревнованье наших голосов;
Пусть все, кто сеет, все, кто строит
счастье,
Услышат этот зов.

Друзья, поэзии живой и дерзновенной
Пусть блещет всюду огненный накал,
Чтоб мирный человек владел вселенной,
Чтоб только миру песни он слагал!

Друзья, идите к нам под сень шатра,
Под сень добра!
Идите к нам: у нас мушоира̀,
Мушоира̀!

Перевел с узбекского
С. ЛИПКИН.





Президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель НАСЕР.

К приезду в Советский Союз.



ЛУННЫЕ СТАДА

Французский писатель Роже Лесаж родился в 1928 году. Свою литературную деятельность он начал в ранней юности, сотрудничая в качестве репортера в одной из провинциальных газет.

Двадцати лет он вступает добровольцем во французские парашютные войска, являющиеся, как известно, основной ударной силой французских империалистов в подавлении национально-освободительного движения в колониях. Французские парашютисты снискали себе мрачную славу в Индокитае, Египте и Алжире своими зверскими расправами с местным населением.

Двухлетнее участие в «грязной войне» во Вьетнаме на многое открыло глаза Лесажу.

С 1954 по 1956 год Роже Лесаж опубликовал три своих произведения. Первое из них — «Иди!» (GO!) — получило премию 1955 года Общества «Люди художественной литературы»; второму — «Горе» («Crevecceur») — была присуждена премия 1956 года города Канн.

В конце 1956 года появилось третье — повесть «Лунные стада», в которой Лесаж выступает как противник новой мировой войны.

Повесть

Роже ЛЕСАЖ

Рисунки А. ЛИВАНОВА.

В этот день большой четырехмоторный самолет полковника Риварда Хеймза едва не отправился, спустив с цепи свою огромную мощь, в обычный ежемесячный рейс по маршруту Париж — Гандер — Бостон — Нью-Йорк.

Хеймз был очень удивлен, что ни один пассажир не явился представиться ему перед запуском моторов, чтобы занять место в большом алюминиевом цилиндре, который пока что покоился на своем шасси из легких труб и казался необыкновенным, доисторическим животным, стоящим на задних, очень тонких, непропорциональных конечностях.

Но Хеймз уже не думал об этих отпускниках, которые больше не появятся сегодня. Как всегда, его самолет завладел им. Медленно окидывая взором машину, привычно восхищенный этим огромным, неподвижным, находящимся в состоянии покоя корпусом, Хеймз молча широкими шагами прохаживался под полированным крылом, на котором была нарисована в большом синем овале пятиконечная звезда — сверкающий знак индустриальной мощи Соединенных Штатов Америки.

Эта звезда внушала ему глубокое уважение. Он чтил ее всем своим сердцем военного, офицера как нечто священное.

Потому что за время войны он столько их видел в взбудораженном небе Тихого океана... Звезды, порой победоносные, порой подбитые или же внезапно рассыпающиеся в мгновенном взрыве, который населял эфир еще несколькими жизнями, остановленными одним ударом... Султан черного, жирного дыма опускался к морю, и все было кончено. О, это происходило так быстро, что каждый раз полковник бывал оглушен смятением и ужасом!.. Он никогда не мог примириться с мыслью, что люди, такие же, как он сам, из мяса и крови, уничтожались, вдруг исчезая в этом великолепном, возбужденном небе, среди боя, зажигавшего на обширных границах горизонта танцующие языки призрачного пожара.

А природа вокруг оставалась прежней, с тем же голубым океаном, полным покоя, в который уходили мертвые.

Полковник страдал от всех этих смертей, так страдал, что иногда — например, когда подолгу не летал,— он даже завидовал судьбе своих старых товарищей: Роджерса, Вальтера, толстого Рейи и многих других, исчезнувших в расцвете юности, в сиянии уже забытой славы.

Сколько героев!

Хеймз не думал о славе. Он верил в себя и в свой самолет, а думал он все о той же смерти, которая — он только этого и желал — настигнет его однажды в воздухе...

Да, Хеймз уважал Звезду, знак власти, позволявшую ему еще летать, когда война уже кончилась столько лет тому назад. Сколько лет?.. Он не мог бы сказать этого, не прикинув наскоро в уме. Но он припоминал в малейших деталях все самолеты, которые пилотировал в небе войны и в небе мира, все эти большие машины, подчинявшиеся его человеческой воле, становившиеся послушными в его руках, как дети, одновременно могучие и покорные, но хрупкие и капризные...

Молчаливый Хеймз уважал Звезду, но свой самолет он любил безумно, как любят женщину. В этом была вся разница.

Являясь первым на аэродром, он проходил под носом своего самолета, как раз под тем местом, которое он сейчас займет у органов управления. Там он останавливался. В течение нескольких секунд для него больше ничего не существовало, кроме этого гордого неподвижного корпуса, вырисовывавшегося на фоне чистого неба. Тогда Хеймз бывал счастлив. В такие моменты ему случалось заговорить, ему, который всегда любил молчать...

Его глаза, обычно полузакрытые, притаившиеся за тяжелыми веками, отсвечивали в эти минуты синевой; широкое темное упрямое лицо становилось как-то особенно человечным. Оно выражало отчасти признательность и еще больше — мужественную радость. Его полные губы слегка приоткрывались над большими и ровными зубами, а голос становился, как у ребенка.

— Ладно, дочка... Полетим вместе еще разок...

Все его самолеты назывались «Дженни». Его много раз спрашивали об этом, особенно на

войне, но он всегда отказывался отвечать. Как командир корабля, он пользовался неоспоримым правом давать имя самолету, который ему доставался. Однажды он даже рассердился, почти пришел в ярость, и товарищи по бомбардировочной эскадрилье поняли, что к нему не следует больше приставать с этим. Насмешливо пожимая плечами, они причислили Хеймза к категории однолюбов. Дженни? Это, несомненно, была красивая маленькая блондинка с Юга, которую полковник свирепо любил... Ну что ж! Пусть будет так!.. Больше уже никто никогда не допрашивал полковника. Одна «Дженни» следовала за другой в боевых донесениях, так что имя полковника и это имя всегда стояли рядом на доске приказов в комнате инструктажа летного состава. В конце концов «Дженни — Хеймз» стало неразделимым целым.

Один на огромной взлетной дорожке, Хеймз взглядом ласкал свой самолет и гладил его большими, тяжелыми руками.

Спустя некоторое время в пронзительном скрежете покрышек «Виллиса» по черному цементу приехали «остальные».

Глаза полковника снова инстинктивно полузакрылись, стали почти невидимыми, превратились в светлую щель с едва заметной голубой точкой.

Что-то недоброе поднималось в его сердце. «Остальные» были здесь, они приветствовали его, громко говорили... Посторонние!.. Но он любил их обоих.

Феллоуэлл, штурман, с копной светлых волос, теперь почти седых, постаревший за столько часов войны, проведенных в облаках и заполненных схватками с японскими истребителями-убийцами...

Феллоуэлл был тридцативосьмилетним стариком, каких иногда делает война из хороших, слишком благоразумных людей. Однако на его лице блуждала постоянная улыбка, озарявшая очень высокий и выпуклый лоб, густые волосы и чистый профиль, в одно и то же время мягкий и волевой.

Хеймз и Феллоуэлл с первых же дней знакомства пришлись друг другу по душе. С тех пор они были всегда вместе. Шесть «Дженни» прошли через их руки, шесть гигантских летающих крепостей, сбросивших столько смертей на лагерь противника, что эти два человека ощущали иногда какое-то стеснение, заставлявшее их молчать о своих прошлых подвигах... Они их совершили. Это был непрерывный ряд трудных действий, опасных и полезных. Но теперь подвиги, за которые они были награждены, казались им, когда они оставались с глазу на глаз, чем-то почти напрасным и гибельным...

Это были прошедшие времена: времена войны.

Третьим в экипаже был радист Карл Ширер. Это был молодой паренек двадцати двух лет, слегка медлительный и немного застенчивый. Очень скоро Хеймз распознал в нем превосходного техника, влюбленного в свою профессию, очень способного и преданного. Вот уже четыре месяца, как он был назначен на «Дженни» полковника Хеймза, ровно четыре месяца — день в день — после окончания им школы радионавигаторов в Спрингфилде, во Флориде. Он заменил на борту старого Мак-Гиенна, ушедшего по выслуге лет в отставку против своей воли.

Несмотря на большую разницу в летах, двое старших скоро приняли Ширера как равного. Они угадали в нем то, в чем нельзя притворяться: полную преданность авиации и любовь к воздуху, что являлось их общим идеалом.

Со своей стороны, сержант Ширер относился к обоим офицерам с глубоким уважением. В глазах двадцатидвухлетнего юноши они были живым воплощением героических летчиков из прочитанных им за время войны «комиксов», людьми, которыми он восторгался в глубине сердца.

Не изменяя своей обычной молчаливости, которая совсем не происходила от горделивой претенциозности, а скорее была присуща его природе, Хеймз с первого дня угадал чувства юноши и был рад, очень рад этому. Полковнику нужно было не формальное уважение — оно автоматически оказывалось ему по чину; он ощущал необходимость быть любимым — для того, чтобы его собственная жизнь перестала представляться ему в таком мучительном свете.

— Сегодня нет пассажиров, господин полковник? — удивленно спросил радист.

Хеймз коротко качнул головой:

— Нет... Наверное, их взяли другие самолеты.

— О! Великолепно!..— воскликнул радист.

— Как так?.. Это удивительно!..— заметил Феллоуэлл, теребя спутанные светлые волосы. Но это была скорее равнодушная констатация факта, нежели вопрос.

Полковник перешагнул через спинку своего кресла, обтянутого шерстяной тканью, к запутанному блеску циферблатов контрольных приборов и легко опустился на сиденье. Штурман занял место направо от него, на сиденье второго летчика.

— Погода о'кэй! До завтра...— сказал он, блокируя компас, чтобы предохранить его от резких колебаний, всегда возможных на взлете.— Со средней видимостью земли мы сможем лететь, не спуская с нее глаз, до океана... Курс — 013-23... Компас в порядке.

В своем огороженном с трех сторон месте, сразу же за спиной полковника, Карл Ширер проверял, хорошо ли закреплена для взлета его нижняя антенна. Успокоенный, он переключил свой приемник на телефон. Полковник приладил оголовье с наушниками поверх своей плоской фуражки, затем, нажимая кнопку контакта на высоте своей груди, начал отсчет в микрофон, установленный перед ртом: один... два... три... четыре... пять... Таков был ритуал.

После короткого молчания радист повторил тот же счет своим молодым голосом. Испытание переговорного устройства, связывающего экипаж, закончено. Как перед каждым полетом, радист заключил: «О'кэй, Роджер!» Это означало, что все, касающееся его, было в порядке. И это условное слово, принятое среди летчиков, как бы определяло момент, когда они перестают быть земными созданиями, чтобы сделаться людьми воздуха. Радист почувствовал легкую дрожь удовольствия, хотя предвкушение это давно уже стало привычным.

Рука полковника легла для запуска на маховик стартера первого мотора, крайнего слева. Тотчас трехлопастный винт повернулся два — три раза вокруг своей оси, как бы колеблясь, затем, обезумев, закрутился в вихре, теперь уже невидимый, а капот вытолкнул большое круглое облако серого дыма.

Феллоуэлл долго кашлял, прежде чем заговорить в телефон. Его слова всегда носили форму вопросов.

— Управление? — спросил он и посмотрел, не видя, на неподвижную точку над кабиной.

— Проверено,— ответил полковник машинально.

— Нулевой отметчик?

— Выключен!

— Радиокомпас?

— В порядке!

Пятьдесят два вопроса, включенные в надоевший список «предохранительных мероприятий» перед каждым взлетом и обязательные для перечисления в мирное время. Пятьдесят два вопроса, которых Феллоуэлл охотно не задавал бы. Но это входило в его обязанности, более того, в его профессию.

Полковник вновь нажал кнопку перед своей грудью. Переговорное устройство было выключено, потрескивание «паразитов» — чужих звуков — в эфире наполнило его уши. Через несколько секунд аэродромная башня управления передаст ему свои указания. Подняв левую руку на уровень глаз, он увидел на часах: пятнадцать секунд ровно... двенадцать... девять... семь...

Голос распоряжающегося на старте прозвучал до странного спокойно и ясно в наушниках полковника Хеймза:

— Орли, старт ВВС США. «Дженни»... Отвечайте...

Полковник тотчас же ответил:

— «Дженни» на старте... О'кэй. Я вас принял, пять на пять...

Тем временем Хеймз запустил второй мотор, затрещавший справа.

После установленной по регламенту связи голос со старта заговорил в его наушниках более интимно:

— Алло, «Дженни» на старте... Ничего не имею для сообщения... Регламентный лист о'кэй... Все в порядке... Овер [1].

Третий мотор, внутренний слева, заревел, в свою очередь.

— Алло, «Дженни»! Вам отведена дорожка 23, юго-юго-запад... Взлет в 17.40... Курс 013-23... Доброго пути... Овер... Поддерживайте связь...

Гудение вновь наполнило наушники. Полковник поднял часы-браслет на уровень глаз. Семнадцать двадцать девять. Еще одиннадцать минут. Это больше, чем нужно.

Теперь заработал последний мотор, внутренний справа. Хеймз подождал несколько минут, чтобы он разогрелся, то есть чтобы циркулирующее в нем масло достигло нормальной температуры, затем уравнял режим этого мотора с другими. Теперь могла действовать общая система синхронизации оборотов.

Упершись обеими ногами в тормозные педали, он маленькими толчками рукояток газа довел обороты моторов до максимального режима, вызвав огромный рев, который, разрастаясь, вырвался на акустическое пространство площадки, словно бешеный галоп вышедших из подчинения лошадей. Длинная металлическая сигара вздрогнула, внезапно зажив собственной жизнью, без сомнения, страстно желая снова очутиться в стихии, для которой она и была создана людьми.

Напрягая слух, экипаж искал, но не обнаружил никакого подозрительного шума. «Мельницы» крутятся «ровно».

Плоско положив руку на штурвал управления, полковник уменьшил газ, понемногу отпуская тормоза. Изящно профилированный самолет неловким увальнем сдвинулся с места и направился на взлетную полосу, содрогаясь на каждой неровности твердой почвы. Переднее ориентирующее колесо шасси, маленькое по сравнению с двумя другими, вело самолет почти так же надежно, как если бы эта масса алюминия была наделена собственным разумом. Но разве не мозг человека был на службе у этой великолепной машины?

Длинный воздушный рукав показывал направление ветра.

— Прямо в лицо!..

— Взлетишь, как отец семейства!..— заметил Феллоуэлл, комически помахивая длинными руками, как крыльями.

Полковник невольно улыбнулся, быть может, только на одну секунду, но этого было достаточно, чтобы показать, что теперь он уже другой человек: летчик!

Все еще пританцовывая, самолет остановился лицом к огромной черной и голой дорожке, которая уходила вдаль, теряясь из вида. Снова летчик пустил моторы на максимальную мощность, последний раз испытывая их перед взлетом. Мимолетным взглядом он проверил закрылки и точные показания циферблата. Все было в порядке.

[1] Условный термин, обозначающий переход с передачи на прием.



— Четыре минуты... три минуты... две минуты!..— выкрикивал радист в наушники.

Потрескивание в наушниках говорило о том, что самолет все еще находится на связи у башни управления. Но вот оно внезапно прервалось, к крайнему удивлению всех троих. Немного задыхающийся, наверное, взволнованный голос, говоривший слишком громко, повелительно проскандировал слова с удивительным смыслом:

— Срочно... На старт полковнику Хеймзу... На старт полковнику Хеймзу — «Дженни». Приняли ли вы меня? Отвечайте. Срочно!

Леденящий озноб недоброго предчувствия пробежал по спине полковника.

— «Дженни» на старте... Я взлетаю через сорок секунд... вас слушаю... пять на пять.

Далекий голос отчаянно кричал в наушниках:

— На старт полковнику Хеймзу! Взлет отложен на семнадцать часов пятьдесят минут... Держите моторы на малых оборотах. Приказ ожидать официальных посетителей у внутренних дверей пилотской кабины... Секретно... Овер... Кончаю...

— Понятно... кончаю... — машинально пробормотал полковник, прежде чем выключить контакт. Сам не зная, почему, он почувствовал себя худо, как если бы кто-нибудь вдруг решил причинить ему боль.

— Что это может быть за история? — серьезно сказал Феллоуэлл.— Это не обещает ничего хорошего... Несколькими секундами позже, и мы бы уже улетели...

Хеймз перевел винты на малый шаг. Мощное дыхание моторов ослабело. Совершенно неподвижный, огромный самолет, казалось, тихо мурлыкал.

В ответ на слова штурмана полковник только покачал головой. Весь его вид говорил, что он дорого дал бы за то, чтобы быть уже в воздухе.

— Всего несколько секунд...— повторил Феллоуэлл.

Полковник внезапно почувствовал себя обозленным, как если бы у него отняли что-нибудь.

Бессильный, удрученный, он пожал плечами и, заблокировав тормоза, резко поднялся с места, перешагнул через сиденье и большими шагами направился к боковой входной двери фюзеляжа. Товарищи следили за ним поскучневшими глазами.

Резким жестом он отбросил задвижку запора, и овальная сверху дверь сразу откинулась назад. Дневной свет затопил переплетение внутренних металлических частей. Казалось, что завывание моторов усилилось в то же мгновение, и облако мелкой пыли вихрем ворвалось внутрь самолета.

Неподвижный и внешне невозмутимый полковник ожидал...

Вскоре, резко затормозив, в нескольких метрах от самолета остановилась автомашина. Хеймз узнал характерный силуэт французского «Ситроена» с передними ведущими колесами. В этот момент он вспомнил, что забыл приставить алюминиевую лестницу к отверстию двери, чтобы прибывшие могли войти в самолет.

Все дверцы автомобиля открылись почти одновременно, и оттуда вышли четыре человека; они сразу уставились на Хеймза, стараясь разгадать его в облаке летевшей вокруг пыли.

Полковник кончил прилаживать крючки лестницы в специально предусмотренных для этого пазах. Его глаза внимательно изучали четырех человек. Почти немедленно он почувствовал, что ненавидит их.

Трое первых, быстро подошедших к самолету, как казалось, были одеты в одну и ту же форму — на них была совершенно одинаковая гражданская одежда: непромокаемые сероватые плащи с поясами и серые фетровые шляпы. Все они были высокого роста, их лица ничего не выражали, кроме абсолютной решимости и твердости, как у людей, готовых к любым испытаниям.

«Полицейские,— машинально подумал американский летчик.— Почему?»

Люди взошли в самолет по блестящим ступенькам лестницы.

Хеймз заметил четвертого человека, который стоял, опершись на заднюю открытую дверцу автомобиля. Его приятная дородность, костюм с вышедшим из моды жилетом и закрученные усы быстро убедили полковника, что это был француз.

— Полковник Хеймз? — спросил первый из людей в непромокаемых плащах низким, чистым, почти металлическим голосом.

— Я полковник Хеймз.— Летчик машинально вытянулся.

Человек протянул руку.

— Хиделл... Специальная служба Соединенных Штатов.

Хеймз пожал протянутую руку. Человек в плаще не снял перчатки.

Специальная служба Соединенных Штатов!.. Летчик почувствовал, как ледяная дрожь пробежала по его спине.

— К вашим услугам...— Он еще раз вытянулся, слегка ошеломленный неожиданностью этого визита.

Человек тем временем повернулся к двери, у которой стояли два его молчаливых спутника. Потом сделал короткий знак рукой французу, оставшемуся у автомобиля.

Еще две — три секунды прошли в многозначительном молчании, затем человек с усами медленно взобрался по лестнице, поддерживая обеими руками небольшой чемодан кубической формы, казавшийся неестественно тяжелым. Уставившиеся на ношу большие, немного выпученные глаза француза выражали, несомненно, что-то бо́льшее, чем боязнь: в них был сознательный страх, страх понимания...

Хеймз спросил про себя: почему?

Он слегка отодвинулся в сторону.

С возгласом «Ух!» человек поставил свою ношу на металлический пол кабины, затем неловко, не подымая глаз, спустился обратно на землю и, усевшись на свое место в автомобиле, захлопнул дверцу.

Человек специальной службы пошевелился.

— Вот ваши инструкции, полковник... Во-первых, вам поручается осуществить для целей армии быструю, спортивной скорости связь между Европой и Америкой. Поэтому вам надлежит знать, что вы не должны покидать своего места на промежуточной посадке в Гандере и что никто не должен входить внутрь самолета. Заправившись по полной норме, вы немедленно летите дальше. Гандер уведомлен и примет все меры, чтобы вы не задерживались... Вы будете сообщать по радио свое местонахождение каждые четверть часа. На траверсе Идлфилда[1] вам станет известно место вашей посадки, указанное в этом запечатанном конверте, и с этого момента вы прекращаете все связи по радио...

Человек, казалось, остановился на середине неоконченной фразы. Он протянул полковнику конверт.

— Имеются ли вопросы, полковник?..

— Нет,— ответил Хеймз.

Человек снова протянул руку в перчатке:

— До свидания, полковник, счастливого пути...

[1] Аэродром вблизи Нью-Иорка.

— До свидания,— ответил Хеймз.

Два молчаливых человека, сопровождавшие этого посетителя, оставили свои посты с каждой стороны двери и первыми сошли на землю.

— О! — воскликнул человек специальной службы, уже поставив ногу на верхнюю ступеньку алюминиевой лестницы и словно вспомнив что-то маловажное:— Этот чемодан, который вы повезете через океан,— и он указал пальцем,— содержит в толстой свинцовой оболочке новое расщепляющееся вещество, предназначенное для наших атомных лабораторий.

Голос человека внезапно стал резким, как если бы он пожалел о своей благосклонности:

— Это вся военная мощь Соединенных Штатов, теперь вы ее держите в своих руках, полковник Хеймз.

Хиделл сошел на землю. Свидание длилось едва несколько минут. Но это были решающие минуты для полковника Хеймза, который теперь закрывал дверь с обеих сторон предохранительными задвижками.

Шум моторов, работающих на малом газу, снова стал слышен слабее. Второй раз в этот день, забравшись в свой самолет, пилот уходил от мира, который был ему чужд. Он даже не посмотрел на чемодан, этот квадратный предмет, такой невинный с виду, на эту чудовищную вещь.

Большими шагами он вернулся в пилотскую кабину. Феллоуэлл и Ширер не могли не понять смысла этого визита. Штурман заговорил первым.

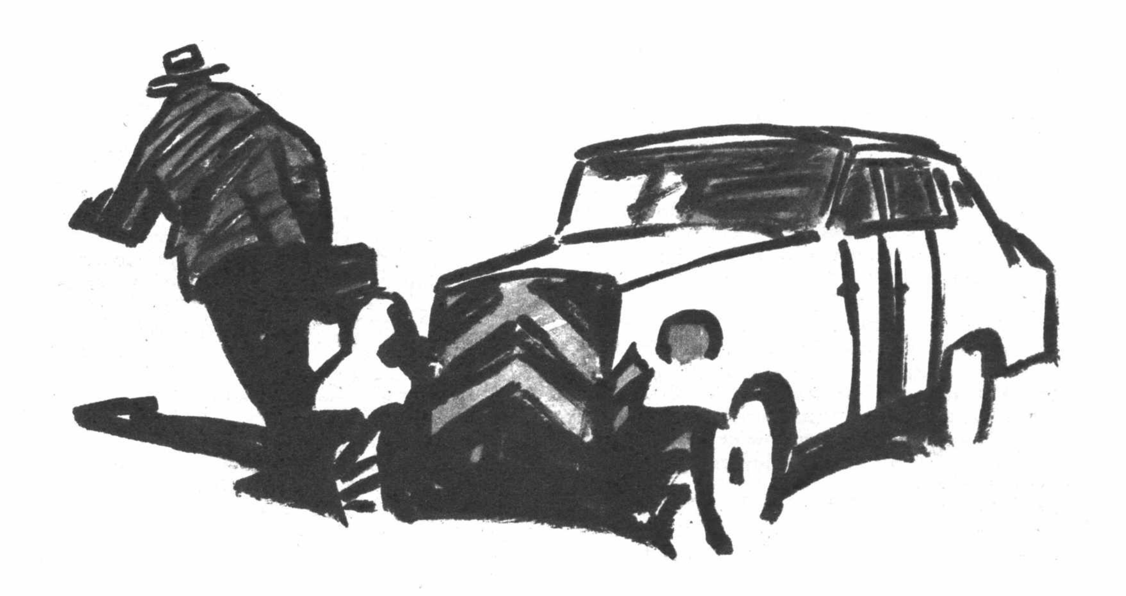
— Ладно, старик!..— воскликнул он ободряющим тоном. Но больше он ничего не сказал, потому что в обычно бесстрастных чертах своего начальника и друга он сразу прочел глубокое отчаяние и страшную, неумолимую злобу, которой не мог понять. Слова застыли на его губах.

— ...Тридцать!.. Двадцать!.. Десять секунд!..— выкрикивал радист своим обычным голосом.

Сдутая дыханием моторов пыль разлеталась во все стороны по площадке.

Еще связанное с землей своими колесами, огромное тело машины неслось на скорости более ста километров в час, вибрируя всей обшивкой и напрягая все заклепки. Потом произошел быстрый переход к своеобразному безмолвию, и перед кабиной стали открываться новые просторы. Легкий пар стал оседать на переднем стекле. Туман. Самолет поднимался с великолепной силой в опаловом тума́не, и скоро толстое крыло как будто растаяло в нем, потеряв свои очертания.

Стрелка альтиметра вращалась... вращалась... Самолет поднимался, цепляясь за бесконечные клочковатые молочные и светлые облака. Затем налет пара на стеклах кабины незаметно стал светлеть, посинел, растворил-



ся, и наконец справа показался триумфальный диск солнца.

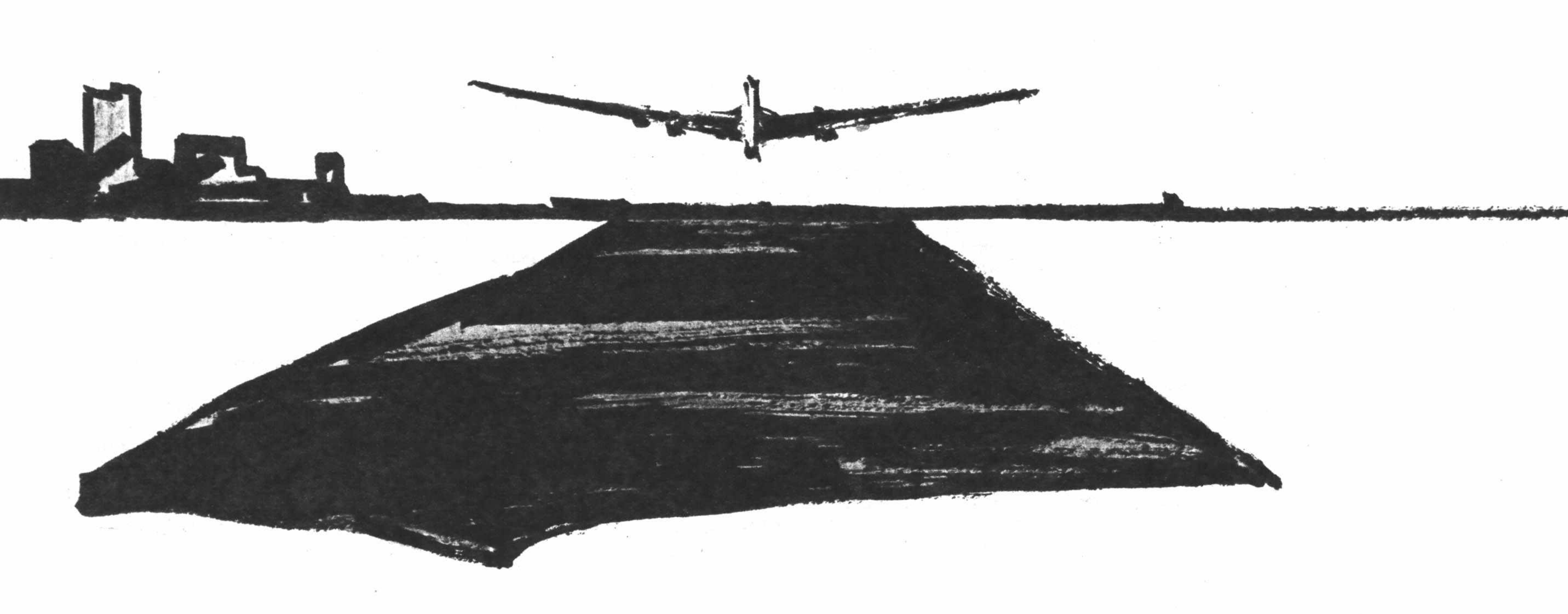
Альтиметр все показывал подъем: 1 100... 1 200...

Синеватая мгла обволакивала парижский район, как продранный местами саван. Великолепные в необъятном безмолвии неба большие крылья, окрашенные в синий цвет, плыли над опаловыми безднами пустоты, головокружительными пропастями, в глубинах которых появлялись иногда белые дороги, шахматные клетки лугов или взъерошенная шерсть лесов. Это были старые виды Франции с извилистыми морщинами раздробленных на полоски полей, живой краснотой черепичных крыш, влажным блеском бесчисленных ручьев и рек. Велосипедист на мосту, упряжка на дороге. Простая и немного печальная поэзия, проникающая в сердце.

Радист только что принял сообщение.

— Как метеосводка, Карл? — осведомился штурман.

— Как будто ничего плохого, сэр, — поспешно ответил Ширер, снова тронутый тем, что его в полете назвали по имени.



Феллоуэлл уселся поудобнее в своем кожаном кресле. Он поднял до упора откидной столик и начал чертить координаты на листе градуированной бумаги.

— Вот... самый короткий путь, — заключил он через некоторое время тоном, выражавшим удовлетворение, отмечая ось полета на гониометрической розе. Затем он слегка зевнул: легкое понижение атмосферного давления вызвало у него некоторую сонливость, признак хорошего самочувствия. Равномерное гудение моторов и это замирание в пояснице при каждой воздушной яме — все это приглашало немного соснуть. Как обычно, полковник попросит его взять управление самолетом значительно позже, ночью. Феллоуэлл скрестил тонкие руки на кожаной куртке, закрыл глаза, и сам собой образ Китти снова возник перед ним.

Сегодня он думал о жене не потому, что это доставляло ему большее удовольствие, чем чтение показаний приборов на приборной доске, а потому, что именно это была самая большая его забота. Едва пройдет пятнадцать часов — и он снова встретится с ней, и все трудности между ними начнутся сначала.

«Перед тем, как жениться, я представлял себе Китти такой, какой хотел ее видеть... Но потом мои мечты были разбиты, и на их место пришла действительность. Быть может, я не прав в том, что упрямо не прощаю Китти этой моей ошибки и делаю ее ответственной за собственное заблуждение», — с горечью думал Феллоуэлл, вглядываясь в представшее перед ним видение жены, которое сегодня, казалось, готово было жить и двигаться.

И Китти, потряхивая длинными светлыми локонами, действительно ожила и заговорила, обращаясь к совести мужа.

«То, что ты чувствуешь, я испытывала тоже... — начала она. — Слушай и вспоминай... Я не ждала тебя, но однажды ты вошел в мою жизнь, и я не могла этому помешать. Я тебе тотчас улыбнулась, потому что я не могла поступить иначе, а отчасти и потому, что ты был такой большой, такой стройный... Я уже не помню, что ты мне сказал. Я слушала только музыку твоего голоса. Первый раз в своей жизни я была счастлива, не зная почему, в обществе неизвестного мне человека. Ты говорил со мной, как если бы ты знал меня уже много лет, и потом объяснял мне свою профессию с таким жаром, что я не могла не заинтересоваться ею...

Когда спустя несколько дней мы вновь увиделись, ты повел меня в кино. В темноте ты осторожно наклонился ко мне и поцеловал меня. Потом ты сказал, что любишь меня... Почему я почувствовала, что это была правда? Кажется, я еще ближе прижалась к тебе. Я была так растерянна, так счастлива после долгого одиночества! Вдруг такой близкой стала возможность не быть больше одинокой, и я ответила тебе таким взглядом, что ты снова поцеловал меня...

Ты помнишь?.. Сидевший сзади пожилой человек закашлял...»

Слезы, настоящие слезы навертывались на глаза Феллоуэлла...

«Я помню... — ответил его внутренний голос видению Китти. — Я тоже посмотрел на этого пожилого смутившегося человека... Твои волосы ласкали мою щеку, я чувствовал огромную радость, огромную теплоту в сердце...

Тогда я сказал тебе, что буду любить тебя всегда всей душой... Я говорю тебе это и сегодня... но...»

Китти продолжала:

«...Но ты принес в мою спокойную жизнь, которой я жила до этого, в мои привычки избалованного ребенка, в мою безмятежность молодой девушки — во все это ты внес свои непонятные привычки, свое неспокойное прошлое. Ты никогда не был тем, кого я полюбила вначале. И ты так и остался для меня неразгаданным; ты доводил меня до отчаяния, даже оскорблял меня. Разве это моя вина, что мы несчастливы теперь? Ты отдалился от меня...»

Китти плакала.

«Если бы ты знал, как ужасно для женщины быть одинокой в доме мужа, когда он сам тут же...»

Феллоуэлл непроизвольно пожал плечами. Это заставило его открыть глаза. Образ жены на мгновение вписался в пушистое облако, которое правые моторы захватили в вихрь своих винтов. Видение исчезло. Штурман с досадой тряхнул головой.

«Нет, поистине Китти не изменилась... Китти и не хотела стать другой... И все-таки мы могли быть счастливы, если бы только она захотела».

Теперь Феллоуэлл окончательно проснулся.

«Если бы она хотела!..»

Конец этой фразы несколько раз вкрадчиво прозвучал в ушах, странным образом оборачиваясь против него самого.

Раздраженный, Феллоуэлл резко потянулся длинным худым телом.

«Я тоже, правда, мог захотеть... — думал он, совершенно забыв о самолете, хотя глаза его уже были совершенно открыты. — Но ведь я хотел... пробовал...»

Он сказал Китти в начале их совместной жизни, что он не любит сельдерея. Но это ни к чему не привело — она по-прежнему не менее одного раза в неделю подавала сельдерей к столу. Тогда он попробовал есть его и обещал даже есть больше, сколько она захочет, лишь бы сделать ей приятное. Разве он не был похож тогда на послушного ребенка? Разве он не хотел? Не пробовал?.. И тогда и всякий другой раз, когда он уступал ее капризам насчет кино, и цвета своих галстуков, и прочего? Он хорошо понимал, что всегдашние уступки ни к чему не приведут, потому что она будет требовать большего, а он скоро не сможет этого выносить.

«В конце концов, что такое женщина, как не прелестное существо с шелковистыми волосами, полированными ногтями, необыкновенными, чудесными глазами, очаровательным ртом, созданным для поцелуев, с ласкающей взгляд фигуркой?.. Существо, которое принадлежит нам душой и телом... Вправе ли женщина не принадлежать целиком своему мужу?.. Вправе ли она сделать обратное: превратить человека, который ее выбрал, в придаток своей собственной семьи?.. Привить ему насильно свои вкусы и привычки?..

Женщина должна раствориться в своем му-

же,— мысленно решил Феллоуэлл, качнув головой, словно желая убедить самого себя.— Иначе все будет нежизненным. Ее прошлое не должно быть для нее прекрасным воспоминанием без всякой связи с настоящим...»

Теперь Феллоуэлл снова был в полузабытьи. Он ясно ощущал это угнетающее чувство, физически отрывавшее его от жены, которую он продолжал любить, это горькое сознание того, что он чужой возле нее, в своем доме. Но тут он в отчаянии понял, что у жены его своя собственная душа, совершенно неизвестная ему.

Он был всегда уверен, что одной любви достаточно, чтобы узнать женщину; что вовсе не нужно, как говорит библия, поскорее сделать ее матерью, чтобы создать моральное спокойствие брака, оставив в стороне более глубокое раскрытие облика жены. Ведь он был так несчастен, когда встретил Китти и вошел в ее простую жизнь с тяжелой ношей своего навязчивого идеала.

— Спирт на винты...— механически сказал полковник.

Этого было достаточно, чтобы Феллоуэлл окончательно вышел из лабиринта, известного только ему одному, куда его увлекали воображение, угрызения совести и очень слабая, неясная надежда, теплившаяся в его сердце. Голос полковника был толчком для возвращения в оглушительный шум моторов и легкую вибрацию обшивки.

— Антиобледенитель!..

Феллоуэлл бросил взгляд на альтиметр — стрелка его остановилась на 8 тысячах метров. Опасно. Самолет тяжелел от инея, вызванного конденсацией паров на этой высоте. Образующийся лед, оседая на механизме управления, мог сделать его непригодным, угрожал вызвать катастрофу, если пятидесятитонная машина перестанет быть управляемой.

— Антиобледенитель!..

Феллоуэлл нажал красную кнопку, расположенную в неглубокой нише слева от него. Подвижный прожектор тотчас же осветил переднюю кромку правого полукрыла, утяжеленную плотным слоем льда. Другое нажатие — и пневматический антиобледенитель, надутый до отказа, превратил опасную корку в пыль, которая исчезла во мраке наступающей ночи. Затем прожектор осветил левое полукрыло, и, внезапно облегченный, ставший более маневренным, самолет ответил на действия летчика легким кабрированием в пронзительном реве моторов на крейсерском режиме.

Стрелка альтиметра поднялась на несколько делений и почти тотчас же снова заняла прежнее положение, а моторы, несколько мгновений задыхавшиеся, вернулись к своей успокаивающей мужественной песне.

В пилотской кабине этой своеобразной ракеты, смело брошенной в открытое небо впереди урагана моторов, случай еще раз покорился вмешательству техники, всегда реалистичной, никогда не обманывающей и до смешного лишенной всякой поэзии.

Феллоуэлл почувствовал озноб с головы до ног. Ну хорошо!.. Видно, Китти очень уж беспокоила его, если он забыл надеть свою теплую куртку на белом барашке. Он натянул пальто, висевшее на спинке его кресла. Из термоса защитного цвета, укрепленного в подставке на уровне радиопеленгатора, он налил в картонный стаканчик черную жидкость, такую густую, что она казалась маслянистой. От горячего кофе сразу стало хорошо. Он протянул термос полковнику, но тот отрицательно покачал головой и не сказал ни слова. Ширер тоже учтиво отказался:

— Спасибо... Еще не хочется.

Штурман завинтил металлическую пробку и поставил термос на место. Потом плотнее уселся в кресло и уже снова собирался отдаться течению своих мыслей, как вдруг почувствовал в затылке легкое покалывание, которого он так боялся с тех пор, как испытал его впервые. Покалывание все усиливалось, пока не превратилось в сильную мигрень. Феллоуэлл сжал лицо руками.

«Почему... почему сегодня?..» — подумал он в отчаянии.

Второй раз в своей жизни летчика Феллоуэлл почувствовал страх. Мерзкий страх. Страх ошибиться в прокладке трассы полета. Он почувствовал себя совсем больным, заброшенным, как это бывало в страшных кошмарах его нездоровых ночей. Он был один над целым океаном невидимых ночных облаков, а под ними простирался мир, огромные размеры которого он в эту минуту не мог себе представить.

Перед его лихорадочно возбужденными глазами клубы движущихся испарений скрадывали расстояние. Впереди, справа, позади, слева океан без берегов простирался на невидимых перекрестках. Был ли верен путь, который он проложил? Среди всех возможных дорог выбрал ли он настоящую?.. Конечно, компас указывает север, восток, юг, но по отношению к чему? К движущейся массе паров, которые рассасываются и исчезают там, где только что был самолет?

Движение в движении над просторами земного поля. Он чувствовал, что неспособен определить хотя бы истинную скорость машины: она зависит от ветра, силу которого и направление на большой высоте точно учесть невозможно. Как в этих условиях может он давать указания, от которых зависело все: самолет, люди? Как он мог так поступить?.. Почему так быстро произвел расчеты?.. Разве привычка может служить оправданием? И разве не возможна всегда ошибка? Лететь над бездной пространства?.. Это значит целиком выдумывать дорогу, на которой в действительности нет никаких примет. Это значит изобрести трассу, которая ничего не означает, кроме линии на бумаге. Это значит все время прорываться в бледную пустоту ночи, которая тут же закрывается за невидимой струей за хвостом.

Феллоуэлла охватил страх. Он боялся, что допустил ошибку. Он вспомнил об одном групповом полете во время войны, когда вся ответственность лежала на ведущем. Тогда это было так легко!.. А кроме того, он был так молод... Может быть, он становится трусливым? От этой мысли он привскочил. Да, дело, должно быть, в этом. Наверное, он становится слишком старым для своей профессии, слишком нервным. Об этом ему говорила и Китти.

«Неужели тридцать восемь лет — действительно старость?» — спросил он себя в отчаянии.

Его взгляд упал на приборную доску, где в кажущемся беспорядке были установлены приборы управления и измерения: указатель, градуированные циферблаты, уровни, ручки из пластмассы, зеленые и красные кнопки, корректоры, счетчики оборотов, манометры давления, выключатели... С ними он всегда вел молчаливый разговор, как с людьми, которые его понимают. «Хорошо», — говорили они; но они умели сказать и другое: «Чуть правее... Хорошее направление... Масло опасно перегревается... Недостаточно давление бензина... Блокирована гидравлическая система шасси... Больше напряжения... Внимание, возможна неисправность во втором моторе...»

Дрожание тонкой, как волосок, стрелки, мигание электрической лампочки, положение капли ртути или уровня голубой жидкости — эта приборная доска передавала ему тысячи конфликтов между материей и энергией.

Штурман испытывал почти непреодолимую потребность сейчас же перечертить заново план полета. Он взял свой транспортир, специальные линейки, циркуль и принялся лихорадочно прокладывать координаты на градуированном листе. Ему нужно было сделать так, чтобы можно было целиком довериться этому клочку бумаги, а это, быть может, и было самым трудным в его профессии.

Полковник Хеймз на одно мгновение остановил свой орлиный взгляд на штурмане. На долю секунды его глаза стали нежными, как у ребенка, но он тотчас же отвернулся, чтобы избежать встречи со взглядом друга. Он это сделал, зная, что на долю штурмана выпала трудная роль, требовавшая от него знаний, опыта, мужества и доблести — пусть отличных от доблестей пионеров прошлого, но столь же необходимых.

На лбу Феллоуэлла, неподвижно наклонившегося над своей задачей, обозначились глубокие морщины. Прошло четверть часа.

— Гандер через четыре семнадцать...— наконец передал он в переговорное устройство.— Курс сто три.

Полковник кивнул головой; его невозмутимое лицо даже не дрогнуло. Штурман вновь обрел немного веры в себя, и Китти показалась ему значительно менее красивой, менее желанной. Теперь она была только проблемой, конечно, навязчивой, но удивительно второстепенной в эти минуты.

В который уже раз после того, как самолет покинул Францию, радист передавал в пространство шифром точное местонахождение самолета. Эти сообщения штурман заготовил заранее — на каждые четверть часа, согласно полученной инструкции.

Теперь, переборов свою слабость, Феллоуэлл серьезно подумал о том, что, возвратясь на базу, он подаст рапорт о переводе его на должность летчика, и только летчика. Он чувствовал огромную усталость, потому что не мог перенести сомнений и не чувствовал за собой права сомневаться. Самолет продолжал свой путь в облаках. В огромном пятидесятитонном цилиндре, висящем над пропастью, шум мощных моторов казался беспрерывным грохотом грома.

«Но в конце концов почему... — думал с удивлением Феллоуэлл,— этот рейс так отличается от других? Неужели этот проклятый свинцовый чемодан был причиной внезапной перемены, которая произошла с людьми экипажа «Дженни»?»

В памяти Феллоуэлла еще свежи были воспоминания о прежних полетах. Конечно, полковник никогда не был болтлив, но все-таки в воздухе у него появлялся интерес к вопросам, не относящимся к службе. Иногда он интересовался пассажирами-отпускниками, направлявшимися в Соединенные Штаты или во Францию. Сегодня он сидел с усталым лицом, глаза его совсем спрятались за тяжелыми веками, он не разжимал зубов, губы его посинели, челюсти были сжаты под квадратными скулами.

Штурман незаметно пожал плечами. Ведь были же и у полковника свои тяжелые заботы. За много лет, что они летали вместе, он не мог разгадать их причин. Он видел его очень грустным и несчастным, грустным даже среди друзей. Так одинокое дерево на высоком предгорье упорно стоит под напрерывными ударами ветра. Полковник был одинок по собственному желанию, и его одиночество уважалось. Разве сам Феллоуэлл не испытывал такого же одиночества в течение всей жизни и особенно с тех пор, как женился на Китти?.. Разве это не было одиночеством, когда там, в казарме, он с упоением глядел на огромное небо, как гвоздями усеянное звездами, сбежав против воли родителей от домашних своих обязанностей, от пустой повседневной жизни? Но очень скоро на собственном горьком опыте он убедился, что действительность создана для того, чтобы уничтожать мечту.

Летать?.. Нет! Сначала подметать полы в казарме; пряча недовольство, выполнять наряды, даваемые унтер-офицерами, часто невежественными, иногда безвольными и почти всегда обозленными надетой на них лямкой солдата-чиновника.

Летать?.. Нет! Сначала на долгие месяцы оставаться целиком под началом этих сдуревших Молохов, в их неограниченной власти. Стоять смирно перед сварливым и зловредным фельдфебелем; терпеть грязь, длинные переходы, ругань, обиды. Смирять свои нервы, учиться выдержке, лелеять наперекор всем свою мечту в этой грубой школе, которая обучает только покорности. Все это испытал Феллоуэлл. Когда же пришел час экзамена, он оказался одним из шести принятых. Шесть из пятнадцати!.. Шесть человек таких, как он, с твердой волей, не пожелавших сдаться. Феллоуэлл неприметно улыбнулся.

Как много изменилось за эти годы! За все эти годы!

Его отец принял известие об этом первом успехе как еще одну выкинутую сыном штучку и почти совсем отвернулся от него. То, чего не мог сделать целый год принуждений, то чуть не сделало поведение отца. Феллоуэлл едва не бросил все — так он был замучен, и чуть не женился на богатой наследнице, которую ему прочили.

Он вновь овладел собой. Раз уж на то пошло, он бросит вызов всему миру. Он будет летать!

После скучных недель «пилотажа» на земле и полетов с двойным управлением он был выпущен в самостоятельный полет и получил диплом летчика. Так для него началась новая жизнь. Эскадрилья!

Это было откровение: неизмеримая красота одиночества в пространстве. Один в мире, целиком принадлежащем ему,— он по-новому стал смотреть на самого себя. Рождающаяся новая воздушная армия Соединенных Штатов Америки приобрела первостепенное значение в этой стране, которая с головокружительной быстротой поднималась в ряды великих держав.

Эта новая жизнь не обходилась без жертв. Сначала — и это было самым легким — требовалось растворяться в экипаже самолета. Надо было забыть о мелкой личной амбиции во имя интересов маленького целого. Потом его способности были замечены, и его направили на стажировку в школу навигаторов.

Самолюбие требовало от него быть во всем первым и досконально изучить новую профессию. Он принял предложение.

В то время в небе появлялись все более мощные самолеты, и каждый день приносил все новые многообещающие достижения: еще немного высоты, еще большее расстояние, еще одна победа над пространством. И вот тогда-то разразилась война, раздавив своей тяжестью весь этот терпеливый муравьиный труд.

Капитан Гораций Феллоуэлл отправился на Тихий океан почти на следующий день после атаки японцев на Пирл-Харбор.

Феллоуэлл слегка наклонился вперед. Его строгий профиль хищной птицы смягчился помимо его воли. Он не любил войны, и все воспоминания, которые она ему оставила — если не считать нескольких орденов за высокую храбрость,— были окутаны сплошным траурным флером.

Именно тогда он и постарел. Его молодость добровольца, сорвиголовы померкла, ее придавили смерти слишком многих товарищей.

Самолет тяжело летел над высокослоистыми облаками, с трудом различимыми в окружающем мраке, преодолевая пропасти, которые открывались здесь и там в темной перине облаков. В глубине, на тысячи метров ниже, угадывалось море, местами фосфоресцирующее.

Феллоуэлл снова увидел Китти. Мысли о ней потекли дальше, с того самого места, где он ее оставил,— среди воспоминаний о той боевой жизни, которую он вел раньше. Навязчивый идеал... Да, навязчивый, потому что он хотел осуществить свою мечту в настоящем, живом небе, а не в игрушечном картонном небе тех, кто довольствуется малым. Бедный Феллоуэлл!.. Он не способен был понять, что мечта почти никогда не претворяется в жизнь, что ее тем более не построишь искусственно, что она одновременно и вне нас и запрятана в самой нашей сокровенной глубине; что мечта терзает нас, опустошает, часто губит и почти всегда остается неразделенной. Он хотел бы, чтобы Китти разделила с ним его идеал. Но она имела свою собственную мечту, в которой не было ничего значительного, кроме желания приобретать, увеличивать свое материальное благополучие.

Когда он женился на Китти, он надеялся, что она и будет воплощением его мечты. Он верил в Китти и думал найти в ней единомышленника. И вот на самом деле она оказалась всего лишь машиной для добывания, для умножения бытовых благ...

Это открытие испортило его жизнь и отравило их отношения. Правда, однажды, в начале их супружества, когда еще ничто не казалось неотвратимым, ему подумалось, что он все-таки найдет в ней то, что жило в его мечтах. В том году во Флориде зима была суровой. Китти простудилась. Сначала это была легкая ангина, потом болезнь внезапно перешла в воспаление легких. Когда после двух месяцев отсутствия он приехал к ней, Китти лежала на кровати в их большой комнате, неподвижная, бледная, как воск. Она дышала с трудом. С сердцем, сжатым тревогой, Феллоуэлл сел возле нее. Он взял в свою руку ее хрупкое запястье. В этих сосудах капля по капле текла неизвестная жизнь, за которую он отвечал. Не произнося ни слова, он ласкал рукой шелковые распущенные волосы, целовал розовый затылок, прекрасные плечи, которые она обнажила, разметавшись в лихорадке. Китти молчала; тяжелая рука этого беспокойного человека, скользившая по ее телу, приносила ей облегчение. Слезы навернулись на его глаза, которые никогда не плакали. Он почувствовал себя маленьким, несчастным ребенком перед бедой жены. Тут же, на месте, он отдал бы жизнь, лишь бы она выздоровела. Теперь для него все было в этом хрупком, пышущем жаром существе, в этом любимом существе!

Это красивое, безвольное тело, казалось, застыло в ожидании какого-то неведомого решения судьбы.

Потом Китти пошевелилась. Ее веки едва заметно приподнялись, чуть дрогнули. Она словно ждала вопроса, ответа, чего-то вроде прощения, которые вернули бы жизнь ее лицу, прояснили бы ее взгляд. Феллоуэлл мягко улыбнулся. Его сердце билось все сильнее. В долгом поцелуе он припал к влажному лбу.

И тут же ему показалось, что он пристал к какому-то таинственному берегу. Комната, наполненная страданием и лихорадкой, исчезла. Вокруг простирался широкий горизонт знакомого ему неба. Да, в эти минуты ему открылся неверный берег, к которому отчаянно мчался его большой самолет... И вдруг, словно ступив одной ногой на песок, как возвращаются к действительности, он обернулся и увидел позади глубокую загадку моря, этого второго неба. И в небе и на море было изображение Китти, она звала...

Он тихо позвал:

— Китти... Китти...

Глубоко потрясенный видом жены, этим живым мертвецом, словно отдавшимся во власть какой-то грозной звезды, еще более далекой, чем его мечта,— перед этим безмолвным телом он перестал принадлежать себе.

Китти не отвечала... Теперь он был отдан весь только ей, своей жене. Водитель белого самолета, он застыл в неподвижности, как сама больная, и ждал, чтобы рассеялся туман и на горизонте, над прозрачной водой, взошло солнце.

— Китти... Китти... моя дорогая!

Китти не отвечала. Умиротворенная присутствием мужа, она заснула... Несколько недель болезни и выздоровления жены были для штурмана самым прекрасным отпуском в его жизни.

Еще слабая, Китти возложила на мужа все тяготы своего существования. Наконец-то она целиком принадлежала ему, как он всегда об этом мечтал. Казалось, она даже и думает его мыслями. Феллоуэлл наслаждался полнотой этого счастья, не думая о том, что непременно придет пробуждение — возврат к тому, неизменному. Пробуждение наступило, оно было быстрым и полным. Китти поправилась, к ней вернулись властные привычки хозяйки дома, удостоенной диплома на специальных курсах. С той поры обычаи, принятые у родителей Китти, опять вошли в жизнь ее мужа.

Когда он снова приехал, она уже занималась генеральной чисткой всего, сверху донизу; она запретила мужу садиться на диван: на нем была слишком непрочная обивка; она опять начала свои разговоры, словно мимоходом, о соседке, купившей мешалку для коктейля, о стиральной машине и о выгодах коллективного путешествия на будущее лето, организуемого обществом чиновников, в котором состоял ее отец. С этого дня Феллоуэлл, мечтавший поделиться с женой своими мыслями, которые она называла безумными, стал произносить только самые необходимые слова, обозначавшие согласие или отрицание. Всегда немного высокомерная, Китти, казалось, не страдала от такого поведения мужа.

Китти не умела мечтать. Мешалка была куплена за наличные деньги, а стиральная машина — в кредит. Феллоуэлл стал надевать ночные туфли, чтобы ходить по комнатам, перестал садиться на диван, который раньше был его излюбленным местом, перестал даже курить в постели перед сном.

Уезжая во Францию, он с горечью спросил себя в последний раз: не были ли для Китти покорные страдания мужа единственным наслаждением в ее жизненной игре?.. Но в этот день она нежно обняла его на пороге дома и совсем тихо сказала:

«Возвращайся скорей... дорогой!»

Странным образом в его памяти только болезнь жены осталась как ощущение счастья и чего-то поэтического.

Профессия вновь захватила его. Теперь металлическая сигара в пятьдесят тонн весом, запущенная над землей, как ракета, возвращалась к Китти. Феллоуэлл угрюмо думал, что исчезни он навсегда в непроглядной ночи смерти, его жена там, внизу, стала бы каждый день украшать цветами его портрет, плакать и любить его именно так, как ему этого всегда хотелось. Она придумала бы образ навсегда ушедшего по собственному образу и подобию, постепенно сделала бы его таким, каким хотела его видеть, и эти образы слились бы окончательно. Вдруг, как при вспышке молнии, Феллоуэлл с ужасом понял, что совершенно то же было бы и с ним... И ему захотелось кричать всем ветрам высот о муках, которыми было полно его сердце.

Широкая выхоленная рука полковника мягко легла на плечо штурмана:

— Я отдохну немного...

Феллоуэлл согласился кивком головы, без слов. Говорить было не о чем: он в совершенстве знал, что ему надо делать. Он делал это много раз до настоящего дня, и каждый раз с новой радостью, хотя движения у штурвала стали привычными, обыденными... Хеймз вытянул длинные ноги по обе стороны колонки управления, штурвал которой, в виде полумесяца, покачивался маленькими толчками под действием автопилота. Он прислонил голову к спинке кожаного кресла, слегка ее откинув, и, казалось, заснул глубоким сном. Большой черный хронограф с рельефными цифрами на фосфоресцирующем зеленоватым цветом циферблате показывал двадцать два часа пятьдесят минут.

Феллоуэлл поставил ноги на широкие педали ножного управления. Одним движением он открыл краны бензобаков группы № 2 — первая группа скоро будет пуста. Он сделал определение места. «Управляемый автопилотом самолет летит под углом к ветру, со сносом примерно в четыре градуса...» — думал он. Он исправил курс на четыре градуса, на несколько минут выключил автопилот и взялся сам за управление, чтобы привести самолет на курс 172 градуса — расчетный курс, от которого он не должен был уклоняться. Самолет слегка накренился на левое крыло, как бы начинал плоский вираж, но затем вновь выровнялся.

Феллоуэлл снова включил автопилот, ни на минуту не отрывая взгляда от компаса и не отнимая руки от штурвала.

В полумраке, странно освещенная зелеными, желтыми и красными циферблатами приборной доски, тонкая и умная рука человека словно ласкала сложную машину, которая могла, однако, разладиться в любую минуту.

«Та-ти-та»,— быстрые сигналы ключа радио, которое бросало свои QDM[1] через каждые четверть часа, привычно отдавались в наушниках. «Прилетим в Гандер завтра утром в три часа тридцать минут,— подумал штурман.— Отдам управление полковнику перед посадкой».

Через помещенный перед его ртом микрофон он окликнул радиста: вдруг захотелось услышать голос приятеля.

— Все в порядке, Карл? Тебе ведь нельзя отдохнуть ни минутки с этой проклятой передачей через каждые четверть часа!..

Показавшийся низким в наушниках, но обычно высокий голос Карла Ширера тотчас же ответил:

— О'кэй!.. Все в порядке, майор... Еще час тридцать.

Это был лаконичный ответ, но вполне достаточный, чтобы эти два человека прекрасно поняли друг друга.

---

[1] Условный сигнал при передаче по радио местонахождения самолета.

Перевел с французского Л. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Окончание следует.



А. А. Мыльников. ПРОБУЖДЕНИЕ.

Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию Октября.



В. М. Черников. ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ.



Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию Октября.

Г. А. Савинов. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ.

Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию Октября.

ВЕКА, ВЕКА...

Рассказ

Александр РЕКЕМЧУК

Рисунок П. ПИНКИСЕВИЧА.

Осенью 1957 года река Печора еще текла на север.

Она еще текла на север, а самоходная баржа «Хариус» шла на юг, против течения. Вода напирала с верховьев, где, должно быть, лились обильные дожди. Ветер свистал, щелкал, как бич, и гнал вперед бесконечную череду завитых барашками волн.

Оттого, что река текла очень быстро, самоходная баржа «Хариус» шла очень медленно, с одышкой. Ее относило. И это медленное движение (едешь час, а излучина вроде все та же) ужас как надоело всем, кто плыл на барже.

Вот почему гидрогеологическая экспедиция, которая плыла на «Хариусе», стала дружно кричать, размахивать руками, когда баржа, круто занеся корму, повернула к берегу.

— Товарищи (такие-то и такие-то), на разгрузку! — скомандовал начальник экспедиции Бондаренко.— Остальным — ставить палатки...

В числе остальных оказалась и Катя Смолева.

Катя Смолева — девятнадцатилетняя темноглазая девушка в пыжиковой шапке, из-под которой выбивались упругие кольца волос, в голубом свитере, а поверх свитера — куртка на меху, с «молнией». Тепло, солидно и к лицу бывалому гидрогеологу.

Катя — на самом деле человек бывалый. Всего лишь два года назад она окончила десятилетку, а уже третий раз выезжает с гидрогеологической экспедицией в «глубинки». По должности своей Катя Смолева — лаборантка. Работа такая: производить анализы грунтовых вод.

Вооружившись топорами, гидрогеологи разбрелись по лесу рубить колья для палаток. Местность вокруг была дремучей. Деревья, деревья... Тишина. Катя, часто оглядываясь, чтобы не заблудиться, шла от дерева к дереву. Прислушивалась к тишине, к запахам леса. Запахи были промозглые, сырые: от влажной, спекшейся палой листвы, от хвои, набрякшей росой, от всякого древесного гнилья, плотно устлавшего землю.

Еще к этим запахам примешивался сухой и горький запах дыма. Катины ноздри уже давно уловили новый запах, но глаза лишь сейчас обнаружили: тонкие пряди дыма скользили по голым ветвям берез, застревали сгустками в еловых лапах, а потом медленно истекали в небо...

Пожар в лесу?

Она проследила взглядом движение голубых струек и стала двигаться им навстречу, с трудом раздвигая колючие ветки. Огромные деревья, потревоженные этим вторжением, роняли с высоты крупные, как галька, холодные капли.

Дым становился все гуще, и вдруг Катя замерла...

Перед ней была стена. Стена обрыва, сложенная из вертикальных каменных плит — желтых и ветхих, как листы древней книги. В стене той — дыра, отверстие высотой в человеческий рост. Из дыры и валил дым.

Катя осторожно заглянула внутрь. Ступи два шага — окажешься в кромешной тьме. И лишь в самой глубине тьмы скорее угадываются, нежели видны слабые багровые отсветы. Скорее угадываются, нежели слышны размеренные удары железа о камень...

И вдруг там, во тьме, кто-то запел. Басом, угрожающе-фальшиво.

Катя метнулась к выходу. Она бежала, не чуя, как хлещут по ногам жесткие еловые мутовки. Еще издали стала кричать своим:

— Пещера! Там пещера...

— Ну и что же? — не выразили особого удивления свои.— Бывают на свете и пещеры.

Все были поглощены сооружением палаток. Лишь Сеня-бурильщик проявил интерес:

— Хорошая хоть пещера? Может, под жилье сгодится?

Катя Смолева обидчиво закусила губу.

— Там кто-то есть... Люди.

— Какие люди?

Тотчас окружили Катю.

— Что там делают?

— Не знаю,— ответила Катя.— Поют...

Все удивились, загомонили: пойдемте посмотрим!

А Сеня-бурильщик опять же про свое:

— Если хорошая пещера, займем под жилье. Лучше любых палаток.

Одним словом, все побросали свои палатки и отправились выяснять. Впереди шла Катя. Лишь войдя в грот, оттеснили ее назад безопасности ради; а может быть, никто и не оттеснял — сама спряталась. Высвечивая темноту карманными фонариками, продвигались молча шаг за шагом.

Наконец пещера осветилась и изнутри — багровым светом костра. Узкий коридор разверзся, и все оказались в подземном зале. Кремнистые, шероховатые стены, сводчатый потолок...

Лучи карманных фонариков скрестились в глубине зала.

Там из-под земли торчали две головы.

Одна голова — без шапки, русоволосая, голубоглазая, с испачканной щекой. Другая — в шапке, с бородой и усами. Обе головы удивленно моргали и щурились от направленного на них света.

— Привет! — сказала одна голова, та, что помоложе, голубоглазая.

Вслед за этим послышался лязг отброшенной лопаты, возле головы появились обнаженные до локтя мускулистые руки, руки оперлись о землю и вынесли из ямы на поверхность рослую фигуру в брезентовых брюках, в клетчатой рубахе.

— Привет! — повторил человек, выбравшись из ямы.— С кем имею честь?..

Из ямы вылез и второй пещерный человек — пожилой, в охотничьих сапогах, перевязанных выше колен. Вылез, пуская дым из огнедышащей трубки...

— Что здесь происходит? — раздался в этот момент голос начальника гидрогеологической экспедиции Бондаренко.

Вид у начальника был сердитый. На берегу давно закончили разгрузку баржи, а те, которым было приказано ставить палатки, разбежались, и ему приходится разыскивать их по всяким пещерам.

Все расступились, пропуская его вперед. Бондаренко окинул взглядом подземелье, шагнул к пещерным людям, протянул руку:

— Здравствуйте, товарищи! Познакомимся...

Он вынул из кармана книжечку-удостоверение, на обложке которой при свете костра золотом сверкнули слова: «Академия наук...»

Тот, что в клетчатой рубахе, обрадованно потряс руку Бондаренко, заглянул в угол пещеры, где были свалены кучей всякие рюкзаки, вернулся, протянул книжечку-удостоверение, на обложке которой при свете костра золотом сверкнули те же слова: «Академия наук...»

— Ах, археологи! — с уважением произнес Бондаренко, заглянув в книжечку.— Очень приятно, очень приятно.

И снова стал трясти руки пещерным жителям.

— Чугуев,— представился человек в клетчатой рубахе.

— Бурмантов Феодосий Феодосиевич,— представился другой, в охотничьих сапогах.

— Так-так. Вижу, времени не упускаете,— продолжал Бондаренко.— И правильно делаете. Вот повернем на юг Печору — все зальет, все уйдет на дно. Море!.. Нужно торопиться: лес прибрать к рукам, недра прощупать, все исследовать, все сберечь...

— Именно! — подхватил Чугуев.— Например, здесь, на Печоре, много интереснейших стоянок древнего человека, в том числе и эта — Югорская пещера. А ими, к сожалению, до сих пор никто не занимался. Теперь спохватились: зальет — придется водолазов посылать!

— Это уж точно, водолазов...

— Кстати, когда начнется строительство? Вы строить приехали?

— Нет. Мы гидрогеологи.

— Гидрологи?

— Гидро-гео-логи! — поправил Бондаренко.— Вы знакомы с гидрогеологией?

— Разумеется. То есть, слышал, читал. Однако... смутно. Вы уж извините, но теперь столько новых отраслей в науке, что порой растеряешься. Хотя и имеешь кандидатскую степень...

Щеки пещерного человека слегка запунцовели. При этом он украдкой покосился на Катю Смолеву. А Катя скроила презрительную гримаску: «Спутал гидрологию с гидрогеологией».

— Бывает,— кивнул головой Бондаренко.— Наша наука еще очень молода. Сюда же мы приехали затем, чтобы изучить в этом районе подземные воды: они могут стать серьезной помехой при возведении дамбы поперек Печоры. Кроме того, нужно выяснить, нет ли здесь карстовых и других явлений, которые грозят утечкой воды из будущего водохранилища... Ясно, кажется?

— Вполне,— заверил Чугуев.

А его коллега, местный житель Феодосий Феодосиевич Бурмантов, выдохнул из трубки густой клуб дыма в знак восхищения: до чего дотошные науки имеются на земле!

— Значит, строительство на очереди? — снова осведомился Чугуев.

— На очереди,— ответил Бондаренко и взглянул на часы.

— Ну, всего хорошего! Извините за вторжение... Будем добрыми соседями.

И уже обращаясь к своим:

— Всем ставить палатки!

Гидрогеологи, дружно топоча, стали выходить из пещеры. Последней уходила Катя Смолева.

— Между прочим, палатки у нас утепленные,— заявила она.— Не то, что эта ваша... берлога.

Андрей Чугуев проводил ее хмурым взглядом. Потом подобрал с полу плоскую дощечку, взял карандаш и на дощечке четко вывел: «Посторонним вход воспрещен».

Выставил дощечку у самого грота. Полюбовался. Снова скрылся в пещере, оттуда вынес пожелтевший зубастый череп, две берцовые кости, отрытые накануне. Все это расположил в установленном порядке под объявлением. Получилось не хуже, чем на трансформаторной будке: убедительно.

Май

Александр ПРОКОФЬЕВ

Мой заречный, мой чудесный
Милый край!
Приходил в реку глядеться
Май.

Он пришел по первоцветам,
По лугам,
По речным, уже согретым
Берегам;

Он прошел, зарей алея,
Сам — заря,
Явно сердца не жалея,
Все даря!

Он завел в бору сосновом
Новый грай.
От сирени был лиловым
Май!

А над ним лучи летели
В синеве
Две недели, три недели,
Дважды две!

— Тари-ра-ра-рам, трам-да-да...— запел археолог какой-то ему одному известный мотив.

Однако на следующее утро, выйдя из пещеры для физзарядки и водных процедур, Андрей Чугуев обнаружил на дощечке с объявлением приписку: «Довольно глупо». В оскале черепа торчал окурок.

— Тари-ри-ра-рам...— спел Андрей Чугуев. Он ни минуты не сомневался, чьих рук проделка.

И тут же, спустившись к речке, увидел невозможную эту девицу в пыжиковой шапке.

Девица в глубоком раздумье стояла на берегу, разглядывая плотишко, на котором охотники обычно переправляются через Югор. Плотишко этот давал немало поводов для раздумья: три куцых бревна, две железных скобы. Шест — отталкиваться. И хотя через речку Югор даже у самого устья можно, изловчившись, переплюнуть,— охотничий плот выглядел не очень надежным средством переправы...

Андрей Чугуев присел у воды, щедро намылил лицо, шею, а сам поглядывал искоса: что, дескать, задача?

Девица уловила этот иронический косой взгляд, сердито фыркнула и, фыркнув, преисполнилась отваги. Ступила на зыбкие бревна плота, подняла шест, с силой воткнула его в глинистый берег...

И все получилось именно так, как предполагал Андрей Чугуев: шест остался торчать в глине, а плотишко вылетел пулей на середину речки. Здесь он покружился на одном месте, а потом не спеша поплыл по течению. Прямо к устью поплыл, прямо в Печору.

Девица в пыжиковой шапке стояла на утлых бревнышках и, удерживая равновесие, размахивала руками, будто канатная плясунья. Только выражение ее лица было непохоже на то, с каким выступают канатные плясуньи: испуганное, беспомощное.

Плотишко тем временем плыл себе и плыл. Уже проплывал мимо Андрея.

— Кланяйтесь моржам в Ледовитом океане! — напутствовал Андрей проплывающую мимо девицу.— Жалко, что Печору еще повернуть не успели, а то бы до самой Астрахани...

— Помогите же! — закричала девица.— Ведь я утону...

— А здесь не очень глубоко,— успокоил археолог.

Даже на расстоянии было видно, как дрожат от страха округлые колени девушки. Андрей Чугуев позволил себе роскошь еще несколько мгновений наслаждаться видом перепуганной девицы, а затем побежал за шестом. Догнал плот, протянул шест:

— Держитесь.

И стал осторожно подтягивать плот к берегу.

— Куда вы меня тащите? — закричала девица.— Мне на другой берег нужно...

Нет, удивительные все же существа женщины!

Андрей полез в воду. Осенняя вода была чертовски холодна. И, хотя Югор действительно неглубок, пришлось окунуться в ледяную воду по пояс. А потом осторожно, чтобы не искупать и девицу, подталкивать плот к противоположному берегу.

Спасенная девица соскочила на землю и тут же осведомилась:

— А обратно я как буду переправляться?

Андрей Чугуев, у которого от озноба стучали зубы, только плечами пожал. В три ручья текла с его одежды вода...

— Ой, не могу! — расхохоталась вдруг девица.— До чего вы на мокрую курицу похожи!..

Андрей задохнулся от злости. Но девица тотчас свой невежливый смех прекратила и, дотронувшись до рукава Андреевой рубашки, сказала:

— У нас в палатке утюг есть, угольями греют. Принесу после работы. Хотите? — И еще сказала: — Меня Катей зовут.

Было это в день субботний.

И в тайге, близ устья Югора, законы положено соблюдать. Поэтому в день субботний гидрогеологи закончили работу рано, к обеду. Пообедали. Затем некоторые стали читать художественную литературу, некоторые сели играть в шашки, некоторые повели между собой интересные разговоры о том, о сем.

А Катя Смолева отправилась в гости к пещерным людям, прихватив обещанный утюг.

Войдя в пещеру, Катя увидела следующую картину.

Ее спаситель Андрей Чугуев сидел на спальном мешке, обхватив руками колени. Вид у него был вполне обсохший и приличный. Взор устремлен в шероховатую стену пещеры, на которой колыхались, змеились отблески костра, зажигая то там, то здесь искры вкрапленных пород. Лицо Андрея было напряженным, сосредоточенным, хмурым...

А у ног его стоял патефон — маленький, вроде дамской сумки. На том маленьком патефоне крутилась большая пластинка с красной наклейкой.

Феодосий Феодосиевич Бурмантов тоже присутствовал в пещере: сидел, смотрел в огонь.

Едва Андрей заметил Катю, сосредоточенность с его лица как водой смыло. Улыбнулся, легко вскочил, посадил ее на спальный мешок, поскольку иной мебели не было в пещере. А сам прислонился к стене, руки скрестил, и тут опять озабоченно и хмуро сдвинулись его брови...

Пластинка на патефоне кружилась лениво, играя на свету тонкими бороздками.

Внушительные, страстные аккорды ревели под сводами пещеры. Внезапно аккорды разделились на множество голосов: тонкие голоса убежали вверх и там трепетали, переливались, собирались в пригоршни и вновь рассыпались жемчужной мелочью; а те голоса, что остались внизу, шествовали неторопливой походкой странника. И все это многоголосье было тесно сплетено, подчиняясь единому порыву.

Играл орган. Благодаря многократному пещерному эху музыка избавлялась от патефонной плоскости, обретала пространство: своды пещеры успешно выполняли роль иных, торжественных сводов...

Катя узнала эту музыку. И не только потому, что ребенком училась в музыкальной школе. Эту музыку сразу отличишь.

И, когда пластинка докрутилась до конца, Катя, потеплевшими глазами посмотрев на Андрея Чугуева, спросила:

— Вы любите Баха?

— Ничего. Терпеть можно...

— А?

Катины глаза округлились от испуга.

Тут Андрей Чугуев ожесточенно, всей пятерней взлохматил шевелюру, скрежетнул зубами:

— Вы понимаете... Вы понимаете...

— Что? — еще больше испугалась Катя.

— Я говорю, что вы музыку понимаете... А я не понимаю! Ни уха, ни рыла... Вожу с собой патефон, кучу пластинок — и все зря. Не понимаю. Все понимают, а я не понимаю.

— А вы к доктору не обращались? Есть такие специальные доктора — по ушам. Вы обратитесь...

Андрей Чугуев глянул на девушку исподлобья: издевается или просто так, ехидничает! Вроде бы ехидничает. Упрямо мотнул головой:

— Обойдусь без врачей. Купил учебник, буду слушать по определенной системе, с самого начала: средние века, клавесинисты, Бах — и до наших дней.

— А вы начните с этих... питекантропов, что ли? — На губах Кати Смолевой расцветала кроткая улыбка.— Это вам будет понятней, ближе... Была у них музыка, у питекантропов?

— Музыки у них, к сожалению, не было. Кроме того, я занимаюсь не питекантропами, а более поздним периодом...

Кажется, археолога проняло. Рассердился. Шагнул к стене пещеры, в тот угол, где лежали всякие мешки и чемоданы. Долго копался в мешке, гремел какими-то каменьями и бренчал какими-то черепками. Затем вернулся. Протянул Кате плоский камень величиной с ладонь.

— Вот... Этой штуке пять тысяч лет!

— Да что вы? Хороший камень. Совсем, как новый...

— Это не камень,— поправил Чугуев и отобрал штуку у Кати Смолевой.— Это скребок. Кремневый скребок. Его изготовили человеческие руки.

Катя заинтересовалась. И опять взяла плоский камень. Провела пальцем по краю.

— Верно! — обрадовалась она.— Скребет немножко. Только зазубринки стертые... А кого они этим скребли?

— Вы правильно заметили,— обрадовался археолог.— Заметили самое важное: стертые зазубринки... Рабочий край скребка отработан. Понимаете? Они работали этим орудием, они работали!..— Глаза Андрея засияли. Волосы рассыпались по лбу, и он лихим движением пятерни откинул их назад. Стоял, расставив ноги, в величественной позе, будто читал стихи на вечере художественной самодеятельности.— Вы понимаете? Ра-бо-тали... Эта работа и создала человека. Создала нас с вами... Завтра, как говорил ваш начальник, сюда, на Печору, начнут перебрасывать технику, чтобы строить новое море на земле. Всякие земснаряды, землечерпалки, бетономешалки... А в самом истоке потрясающих машин современности лежит вот этот агрегат...

Андрей снова потянулся за скребком, но Катя не отдала. Рассматривала со всех сторон, внимательно рассматривала.

Польщенный археолог притащил к ее ногам весь мешок. Выкладывал из него свои находки и объяснял подробно:

— Взгляните сюда... Наконечники стрел. Опять скребок. Каменный топорик... Все это мы с Феодосием Феодосиевичем откопали в пещере. Здесь долго жили люди. Глубина культурного слоя — почти метр... А вот это мы нашли уже ближе к поверхности: керамика. Да-да, обломок обыкновенного глиняного горшка. Оказывается, даже в древности не боги горшки обжигали... Обратите внимание: рыбья чешуйка. Уху, стало быть, варили...

Катя рассмеялась.

— А здесь нам придется прибегнуть к оптике,— сказал Андрей, раздобыв из мешка еще один черепок. Из кармана штанов вынул увеличительное стекло, протянул его Кате вместе с черепком: — Вглядитесь получше, видите — на глине отпечаток пальца?

— Где? Не вижу... Вижу, теперь вижу! Отпечаток...

— Притом отпечаток женского пальца. Значит, гончарным производством в этих местах не брезговали заниматься и дамы... Да, безусловно: совсем маленький, деликатный пальчик...

Катя пристально взглянула на

археолога, который улыбался, вертя перед самым носом черепушку. Нежно так улыбался, мечтательно...

Ревнивое чувство вдруг шевельнулось в Катином сердце. Брови ее обиженно сдвинулись. Но тут же разошлись, заиграли мстительно:

— Пожалуйста, расскажите, как она выглядела, вот эта самая...

— Выглядела? — переспросил Андрей Чугуев.— Ну что ж, изобразим.

Из того же широченного кармана, где хранилось увеличительное стекло, археолог извлек записную книжку, карандаш. Раскрыл чистый листок. Однако рисовать стоя ему было несподручно; присел на спальный мешок рядом с Катей. Катя чуть отодвинулась: посмотрим еще, кого ты там нарисуешь...

Грифель быстро бегал по листку: археологи — они мастера рисовать. Руки, ноги, голова. Меховая пелеринка ниже поясницы...

Катя Смолева торжествующе расхохоталась. От смеха едва не опрокинулась, хорошо, успела схватиться за плечо Андрея.

— Стильная девушка...

Андрей тоже развеселился. Ему самому понравился портрет стильной девушки эпохи позднего неолита. Надо будет сохранить портрет.

Кроме того, Андрея Чугуева развеселило и другое обстоятельство: ехидная его собеседница ухватилась за его плечо, а убрать руку с плеча так и позабыла.

Феодосий Феодосиевич Бурмантов вздохнул, поднялся, кряхтя, с насиженного места, побрел к выходу.

А парень с девушкой — Андрей Чугуев и Катя Смолева — даже внимания не обратили на то, что встал вот и ушел куда-то третий, лишний человек.

Благородства третьих лишних никто не замечает. Только сами они замечают свое благородство.

— Теперь нарисуйте его, ну, кавалера этой древней девушки,— попросила Катя, заглядывая в блокнот через Андреево плечо.

Андрей нарисовал. Они, археологи, мастера рисовать. Руки, ноги, голова. Пелеринка ниже поясницы. Сидит на корточках — огонь добывает.

— Ничего, симпатичный...— неуверенно сказала Катя.

И повернула лицо к Андрею. Посмотрела на его смуглый, первой глубокой морщиной прочерченный лоб, на широкие брови, на голубые, как тающий снег, глаза, на обветренные, еще мальчишеские губы...

Сравнивала, что ли?

Андрей тоже смотрел. Внимательно так и серьезно смотрел он на совсем близкое девичье лицо, позлащенное светом костра. На упругие кольца волос, выбившиеся из-под шапки, на темные с исчезнувшими зрачками глаза, на пухлые, доверчивые губы...

— Кхм-кгм... Извиняйте.

В пещере снова был Феодосий Феодосиевич Бурмантов. Переминаясь, с ноги на ногу, посопел пустой трубкой.

— Андрей Николаевич, там Спутник летит.

Катю и Андрея будто ветром сдуло с места. Будто ветром пахнуло на костер — заметалось пламя.

Держась за руки, спотыкаясь о камни, они выбежали из грота.

Уже не было светло на дворе. Однако и не совсем стемнело. Только щетинистая гряда деревьев была сплошь черна. Река же отливала чистым холодом. И небо — уже без солнца и еще без звезд — было холодным и чистым, как речная вода в канун ледостава. С одного края небо посветлее, с другого — потемнее. Просторное небо.

А по небу летел Спутник.

Яркая звезда пересекала небосвод уверенно, неторопливо, зная наизусть и заданную ей орбиту и время, положенное ей, чтобы обернуться вокруг Земли.

Андрей и Катя видели Спутник впервые, хотя и знали, что он часто пролетает именно над этими северными широтами. По радио слышали. А видели над головой лишь густые осенние тучи...

Но вот небо ясно. Летит звезда. Она почему-то кажется привычной и знакомой, как знакомы и привычны огоньки самолета, совершающего ночной рейс. Как привычна и знакома вереница освещенных окон пассажирского поезда, который в урочное время проносится мимо глухого разъезда.

Гидрогеологи, выбежавшие из своих палаток, шумно приветствовали пролетающий Спутник. Некоторые даже шапки подкидывали. Всем было очень приятно и лестно, что Спутник не забыл пролететь и над устьем Югора, где два десятка людей живут в палатках, на дне будущего моря.

Спутник, еще не достигнув горизонта, растаял в сумеречной мгле.

А Катя и Андрей стояли, по-прежнему держась за руки, задрав подбородки.

— Мне пора...— сказала вдруг Катя и отняла руку.

Будто спросонья сказала, тихо, удивленно. Но тотчас оживилась:

— У нас сегодня собрание комсомольской группы. Насчет воспитания... Если хотите, можете присутствовать. Вы комсомолец?

— Нет,— развел руками Андрей.— То есть, был. А теперь я — этот... перестарок.

— Переросток,— поправила Катя.

Она, кажется, очень огорчилась, узнав, что Андрей Чугуев не пойдет на собрание комсомольской группы. Даже глаза опечалились. Но уж, видно, ничего не поделаешь.

— До завтра?

— До завтра...

Всполошилась, зашелестела густая еловая хвоя, пропуская девушку. И сомкнулась. Чуть подальше дрогнули белые березовые ветки, извиваясь, как молнии, заплясали в темноте. И застыли. Где-то у самого берега прошуршали легкие шаги...

Андрей стоял у пещеры, прислонясь к ветхим каменным плитам. Скрестив на груди мускулистые руки, долго смотрел в темноту и молчал. Потом откашлялся, тихонечко запел ему одному известную, ни на что не похожую мелодию.

— Андрей Николаевич, чай пить будете? — высунулась из грота голова Феодосия Феодосиевича.

— Что? — рассеянно отозвался Андрей Чугуев.

Осенью 1957 года река Печора еще текла на север.



РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ —

Достижения советской науки последних лет вызвали законный интерес и внимание научных кругов во всех странах мира. Во много раз возросло число ученых из зарубежных государств, посещающих научно-исследовательские учреждения Советского Союза для установления творческих связей и контактов, для ознакомления с выдающимися работами советских исследователей.

Мы побывали в различных институтах и видели многих представителей научных центров Европы, Азии, Африки и Америки, работающих рука об руку с нашими учеными. Широк круг проблем, над которыми могут сообща трудиться ученые всех континентов на благо человечества, в интересах мира и прогресса.

Г. КУЛИКОВСКАЯ. Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА.

В Объединенном институте ядерных исследований, где на равных правах трудятся физики двенадцати стран, мы познакомились с Жанной Лаберриг, ученицей Жолио-Кюри. Она приехала из Орсе, небольшого местечка под Парижем, в котором создается сейчас новый французский центр по ядерной физике. Что же привело сюда молодого доктора физических наук?

— Пузырьковая камера, на которой я работаю вместе с моим новым товарищем, Михаилом Баландиным, под руководством Бруно Максимовича Понтекорво, — отвечает Жанна Лаберриг. — Меня интересуют еще ускорители (таких мощных в Орсе нет) и, конечно, синхрофазотрон.

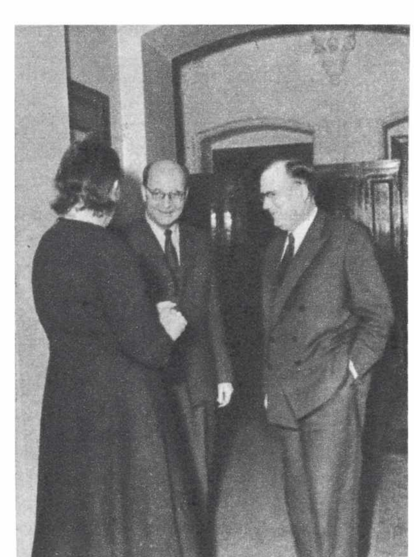
Жанна Лаберриг здесь не одна. Маленькая Анна Лаберриг в детском саду Дубны чувствует себя среди русских подружек ничуть не хуже, чем дома.

→



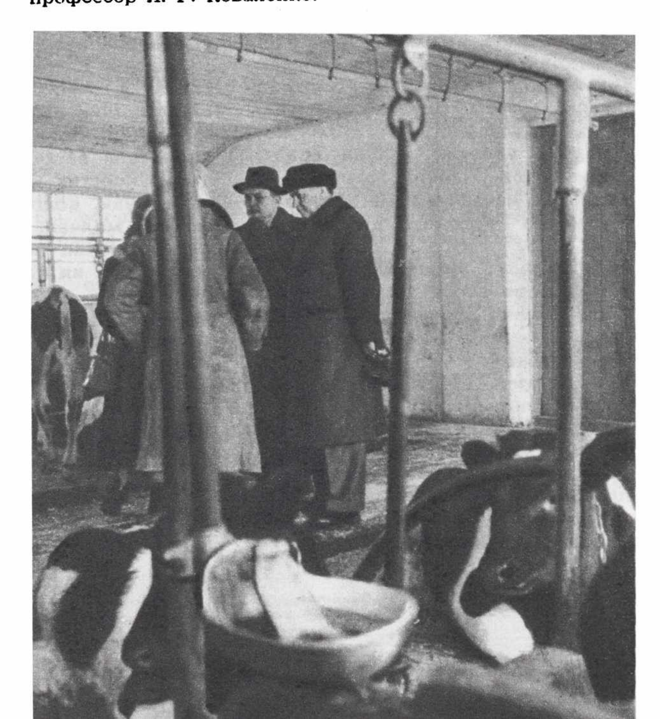
Почти каждый из девятисот ученых, посетивших СССР в прошлом году по приглашению Академии наук, выступил хотя бы с одним научным сообщением. Вот и американский химик профессор Герман Марк (слева) — его встретил на аэродроме академик В. А. Каргин — намерен сделать несколько докладов по химии полимеров.





Директор Химического института Академии наук Венгрии Геза Шай (в центре) и директор Института органической химии имени Юстуса Либиха в ГДР Вольфганг Лангенбек (справа) с супругой—гости советских химиков. Они приехали на конференцию по физике и физико-химии катализа.

Профессора Гейнца Рёрера из ГДР (справа) мы застали в совхозе «Лесные поляны». Он президент института имени Фридриха Лёфлера по исследованию заразных болезней животных. Профессора пригласил сюда директор Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии профессор Я. Р. Коваленко.



ОЧЕНЬ ХОРОШО!





— Зажим! Нитку!
Хирурги не разговаривают, а бросают слова в напряженную тишину операционной. Вы видите их — Кудрявцева, Сюэ Гань-синь, Донецкий. Идет операция на сердце. А сердце это, пораженное врожденным пороком, бьется всего пять лет. Не каждого хирурга допускают к такой сложной операции. Но за плечами Сюэ Гань-синя — шесть лет работы на кафедре хирургии Хунаньского медицинского института и почти три года в Институте имени Вишневского в Москве.

Объединенная Арабская Республика, Южно-Африканский Союз, Афганистан... Расширяется круг стран, ученые которых стремятся установить дружбу с советскими исследователями. Сейчас на стажировке в институтах Академии наук СССР находится группа физиков из Египетского района ОАР во главе с доктором Камаль Абдель Азиз Махмудом (крайний справа).



←

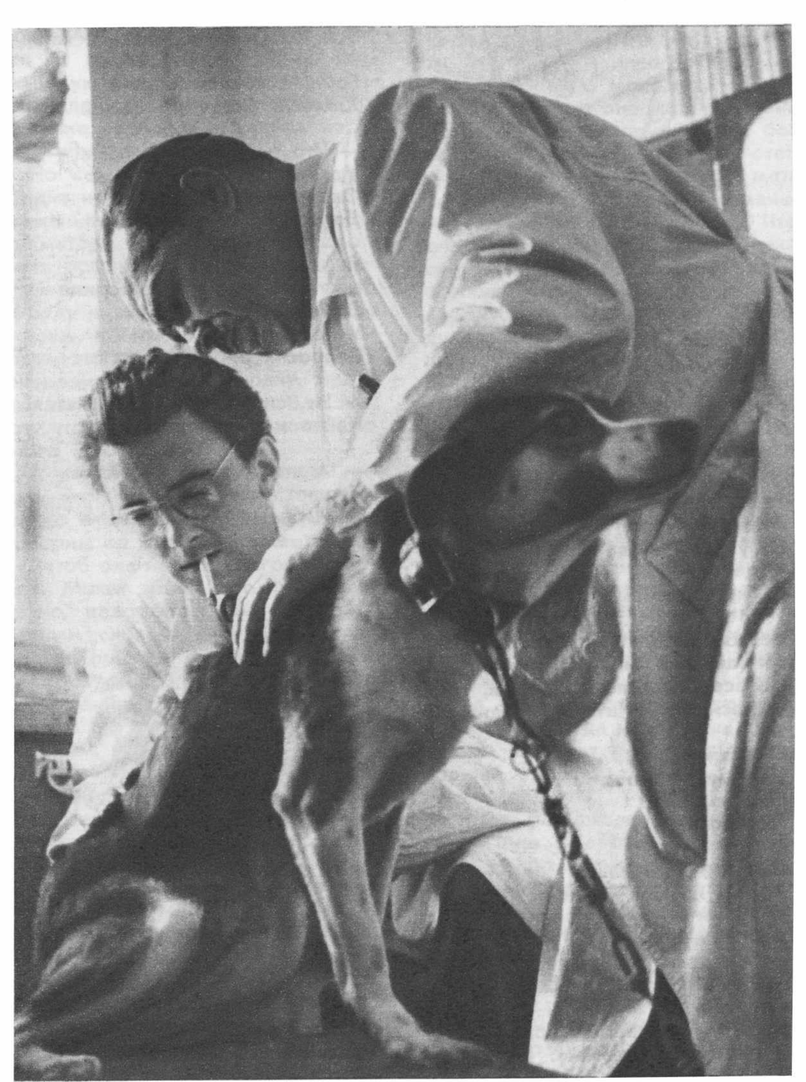
Три друга из Ханоя — Нгуен Ван Нен, Нгуен Гуй Фан и Ву Чонг Кинь — мечтали защищать диссертации в Москве. Их мечта осуществится. Они живут в Москве, слушают лекции в Центральном институте усовершенствования врачей и работают в клиниках Москвы.

←

Знакомьтесь: научный сотрудник Александр Васильев, инженеры из Югославии Саша Кведер и Наим Кошарич и научный сотрудник Станислав Яковлев. Здесь, в одной из лабораторий Института металловедения и физики металлов, они работают над проблемой использования радиоактивных изотопов в металлургии.

←

Это румынские врачи, прибывшие на специальные двухмесячные курсы в Боткинскую больницу. Они тоже изучают изотопы, но применительно к медицине.



Чех Ян Грозданович (слева) и русский Павел Чепов впервые встретились в Праге. Павел Чепов был гостем на конференции в Биологическом институте Академии наук Чехословакии. Тогда и выяснилось, что чехи и русские подходят к решению проблемы трансплантации органов и тканей с противоположных позиций. Значит, объединив усилия, можно работать успешнее. И вот Ян Грозданович в Москве, в Институте экспериментальной биологии.

— Работать вместе — очень хорошо! Запишите это, — просит чешский ученый.

Краснокожие





Агния БАРТО

Рисунки В. ГОРЯЕВА.

ГОСТЬ ИЗ АМЕРИКИ

В школу
На улицу Чехова
К детям
Туристка приехала.

Седая, в оранжевой блузке,
Ни слова не знала по-русски,
Но всем пожелала успехов,
Спросила: — А кто это Чехов?

В школу
На улицу Чехова
Она издалёка
Приехала.

Она летела и плыла
К нам из Сан-Франциско,
К нам и внука привезла
Бабушка-туристка.

Мальчик ростом невысок,
Пьет с утра томатный сок,
Ходит в брючках до колена,
В куртке-распашонке.

— Он из книжки
Марка Твена! —
Шепчутся
Девчонки.
— А в каком он классе?
— В третьем!
— Мы его как друга
Встретим!

Тут Наташа, ей лет восемь,
Смело руку подняла,
Говорит: — Давайте спросим,
Как в Америке дела.

— Тише, дети, я прошу, —
Сказала переводчица. —
Прекратите этот шум,
Хочу сосредоточиться.

При чем тут переводчица?
Побегать людям хочется!
Все кричат: — Хау ду ю ду!
Погоняем мяч в саду!

А гость как расхохочется!
Он, видно, весельчак.
При чем тут переводчица?
Понятно все и так!

Подружились дети
С мальчиком в берете.
Первоклассница Аленка
Принесла ему котенка
Из живого уголка,
Говорит: — Играй пока.

Оказалось, в Сан-Франциско
Есть точь-в-точь такая киска.

Гость освоился вполне,
Хлопнул Свету по спине.

— Что ты делаешь, чудак! —
Удивилась Света.
Оказалось, это в знак
Дружбы и привета.

На лавку в школьном
скверике
Друзья решили сесть.
У гостя из Америки
Вопрос к ребятам есть.

— Ну, спрашивай, что хочется!
На то и переводчица.

— А что, у вас в индейцев
Играют или нет?
— Играем, разумеется! —
Кричат ему в ответ.



— Мы в пионерском клубе
Построили вигвам!..
Принес вожатый бубен,
Сказал: — Подарок вам!

— Сюда несите бубен.
Играть в индейцев будем!

БУБНЫ БЬЮТ

Мы не в школьном скверике,
Мы уже в Америке!

В сиянье солнечных лучей
Тут пляшут краснокожие,
На наших юных москвичей
Совсем и непохожие.

Тут бубны бьют,
Как звонкий дождь,
Всех оглушили прямо!
Смотрите:
Вышел главный вождь
Из главного вигвама.

Выходят главные жрецы,
За ними главные певцы,
На головах у них венцы —
Цветные птичьи перья.
(Здесь не Москва, а прерия!)



В честь солнца
Нынче торжество!
Спешите! Праздник начат!
Соседи, все до одного,
К соседям в гости скачут.

А бубны бьют,
Как звонкий дождь,
Гремят, рокочут бубны,
И всех гостей
Встречает вождь
Улыбкой
Дружелюбной.

Бубны бьют!
Кипит веселье!
У танцоров свой обычай:
Вот на корточки присели
И запрыгали по-птичьи.
И такой раздался щебет,
Птичий гомон,
Птичьи трели,
Что в ответ
Все птицы в небе
По-индейски засвистели.



Песня, лейся!
К солнцу взвейся!
Все быстрей,
Все жарче танец!
— Ну, пора стрелять
В индейцев! —
Крикнул гость-американец.

Он испортил всю игру!
Он кричит: — Я белый!
Захочу — и отберу
Ваши самострелы.

Мы владеем этим краем,
В плен индейцев забираем,
Мы всегда, —
Сказал мальчишка, —
Так в Америке играем.

Заявляю краснокожим:
Мы их лагерь уничтожим!

Окружили дети
Мальчика в берете.
— Ты хотя и белый,
Лучше так не делай!

— Ты не смей, —
Сказала Света, —
Праздник солнца омрачать,
Или будешь ты за это
Перед всеми отвечать.

— Кулаками
Ты не действуй! —
Все кричат наперебой. —
Мы от имени индейцев
Рассчитаемся с тобой!

Гость в опасности, пожалуй,
Но вожатый, умный малый,
Говорит: — Напомню вам,
По индейскому закону,
Пальцем гостя я не трону,
Если гость пришел в вигвам.

Мы индейцы-звероловы,
Трусов нету между нами,
Спорить в храбрости готовы
Мы с другими племенами,
Но любой из нас умеет
Дверь для гостя распахнуть,
И всегда найдет индеец
К сердцу гостя верный путь.

ТРУБКА МИРА

Вот опять идет веселье!
Птичий щебет,
Птичий говор.
Вот на корточки присели —
Заплясали птицы снова.

Песня, лейся!
К солнцу взвейся!..
Гостя в круг
Зовут индейцы.

А Светланка-
Индианка
К сердцу гостя
Ищет путь:
— Если хочешь,
Птицей будь!
Все свистят, поют, стрекочут,
С криком кружатся в кругу.
Гость сказал:
— Я, между прочим,
Как скворец, свистеть могу.

Он и впрямь свистит отлично,
Он защелкал, как скворец.
Снова пляшет стая птичья,
К ней прибавился птенец!

Все сильней рокочет бубен,
Продолжается игра.
— Разжигать, индейцы, будем
Трубку мира у костра!

Трубки нет, не в этом дело,
Взяли ветку подлинней.
На траву Светланка села,
Гость уселся рядом с ней.



А вокруг сверкают искры,
Разгораются костры.
Гость сказал:
— А в Сан-Франциско
Нет у нас такой игры.

Говорят индейцы гостю:
— Ты теперь нас не забудь!
Нарисуешь на бересте
Ты на память что-нибудь?

...Где же бабушка-туристка?
А она давно по списку
Осмотрела все вокруг
И спросила: — Где мой внук?

— Где мой внук? — зовет
туристка.—
Надо ехать, вечер близко.
Что ты делаешь, дружок?
— Трубку мира я зажег!

Удивляется туристка:
Пляшет внук ее в кругу
И кричит:
— Я в Сан-Франциско
Трубку мира разожгу!



Варвара КАРБОВСКАЯ

Рисунки Ю. ФЕДОРОВА.



Очень трудно в двадцать

— Вот, полюбуйтесь на нее! Воображает, что она красавица, такая стала кривляка, что смотреть противно! Торчит перед зеркалом, висит на телефоне... В кого она, я вас спрашиваю? Отец работает, ему дышать некогда, у меня тоже нет ни минуты свободной, а разве она это ценит, разве понимает? А, да что говорить! Как будто мы желаем ей зла... Нет, нет, я лучше уйду, я не могу! А вы тут как хотите...

Анна Георгиевна говорит все это нервно, с дрожью в голосе, с выкриками. Мне кажется, что она вот-вот расплачется. Наверно, ей тоже так кажется, и, чтоб этого не случилось, она кое-как надевает шляпу, хватает пальто и уходит, хлопнув дверью.

А я-то думала, что меня позвали, чтоб посоветоваться, как нам вместе провести праздник. Никогда не знаешь, что от тебя нужно твоим лучшим друзьям!

Мы остаемся вдвоем, Кунигунда и я. Кунигунда... Почему некоторые родители дают своим детям изысканные, вычурные имена? Я знаю маленькую, тихонькую, как мышь, Клеопатру. Мне рассказывали — может быть, шутили, но давали слово, — что будто какую-то девушку зовут Венерой. Пока Венера молода, куда ни шло, но ведь ей когда-нибудь стукнет шестьдесят. И если к тому времени женщины не научатся сохранять свою молодость и красоту, то шестидесятилетняя Венера всегда будет вызывать насмешливую или грустную улыбку.

Уходя, Анна Георгиевна сказала про свою дочь:

— Полюбуйтесь на нее!

И вот я сижу и любуюсь. Совершенно искренне.

В школе ее звали Гунька. Родители — Куна, Куночка и даже Куничка, с ударением на «и», объясняя это тем, что ее волосы похожи на мех куницы. Чего только не выдумают родители! В институте она потребовала, чтоб ее называли Кун или Гун, как кому нравится. Мне лично больше нравится Гунька.

Гуньке двадцать лет. Она стройная и какая-то удивительно гармоничная. «Всё в ней гармония, всё диво». (Поэты, если захотят, находят самые лучшие слова для определения женской красоты.) У нее каштановые волосы и голубовато-серые глаза, как вода в озере, когда в нем отражается ясное небо. Нос, эта самая трудная часть лица, которую не скроешь локонами, что можно проделать с некрасивым лбом, нос, придающий лицу унылое выражение, если он длинный и нависает над верхней губой, или глуповатое и легкомысленное, даже если его обладатель — действительный член Академии наук, — нос Гуньки до самой старости будет служить украшением ее лица. И чистый девичий рот, прелестное сочетание розового и белого, когда она улыбается.

Но сейчас она не улыбается. Сидит на диване с каменным выражением. Это понятно. Услышать от матери такие слова, как «смотреть противно» и «кривляка», неприятно. К тому же она ждет, что я буду читать ей мораль. А когда ждешь, что тебе будут читать мораль, это то же самое, что ждать очереди к зубному врачу, предвкушая зуд и сверление. Все знают, что это на пользу, но никто этого не любит.

А я как раз не собираюсь читать нотаций. Да и не умею. Гораздо будет лучше, если мы поговорим по душам. Но мне хочется, чтоб она начала разговор первая. Может быть, это непедагогично, надо было бы ободрить теплым словом? Не знаю. Когда пловец прыгает в холодную реку, ведь ему никто не подливает теплой водички.

Пока что она молчит. Ну что ж, посидим, помолчим.

Интересно, с чего она начнет? Будет оправдываться, пожалуется: мама такая нервная... Ведь ничего нет легче — пожаловаться.

Она смотрит на меня исподлобья, улыбается и говорит совершенно неожиданно:

— Мне нравится ваше платье. Оно вам очень идет.

Подумать только! Ей двадцать лет, а она уже знает, что если сказать кому-нибудь, что он хорошо одет, изящен, элегантен, то этот «кто-нибудь», все равно, женщина или мужчина, сразу начинает чувствовать расположение, что-то вроде признательности. Один раз умному, талантливому писателю сказали: «Рассказ у вас получился чудесный! Но на фотографии вы прямо какой-то Бармалей в мешке». И он не на шутку обиделся, а на то, что похвалили его рассказ, даже не обратил внимания.

— Приятно хорошо одеваться, правда?

Я знаю, как мне надо ответить: что одежда — это не главное, что по одежке встречают, по уму провожают и что «в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»... Но все это она знает не хуже меня.

— Приятно.

— И особенно в молодости, — уверенно говорит Гунька.

— Много ты понимаешь! Тебе же еще не было тридцати, сорока, семидесяти. Что ты можешь об этом знать? Каждое время жизни, так же как каждое время года, должно быть красивым по-своему. Весной очаровательны лиловые подснежники, осенью особенно дороги георгины, не только потому, что они великолепны, но и потому, что они последние. А зимой — сказочно-прекрасные снежные узоры на окнах.

— Да. А у дедушки вставные зубы и подагрические шишки на пальцах.

— Ты это к чему?

— К тому, что хочется быть красивой, нарядной, любимой непременно смолоду.

— И до самой смерти.

— Может быть. Но смолоду — обязательно. А вы знаете, как трудно быть молодым? Мама почему-то совершенно забыла...

А на это что ей ответить? Что перед молодыми открыты все пути, что нигде и никогда не было такой заботы о молодых, как теперь у нас, что она живет в таких условиях, как говорится, дай бог всякому: удобная квартира, отец достаточно зарабатывает, мать хоть и делает ей походя замечания, но любит ее без памяти? Что она может учиться совершенно спокойно и нормально, не считая всеобщего тихого сумасшествия перед экзаменами, может не задумываться ни сейчас, ни в будущем над вопросом, найдется ли работа, место в жизни? Но и это ей тоже все известно. Под словами «трудно быть молодым» она понимает что-то совсем другое.

— Можно совершенно начистоту? — спрашивает Гунька, и лицо ее становится детским и доверчивым. — Я почему сказала — трудно? Потому что в двадцать лет очень многое делаешь, видишь, говоришь в первый раз. И никогда не знаешь, как нужно сказать или сделать, чтоб не получилось смешно или глупо. Вот, например, у нас в группе есть один студент, который никогда ничему не удивляется. Скривит рот, сделает холодные глаза и скажет: «Подумаешь, чешуя!»

Я не спрашиваю, почему «чешуя». Мне уже один раз объяснили в популярной форме, что это значит ерунда, чепуха, нечто не стоящее внимания, ненужное. А спросили бы окуня, нужна ему чешуя или нет...

— И этот студент с чешуей действительно все знает, все видел, пережил и его ничем нельзя вывести из равновесия?

— Ну, что вы! Так же, как и мы, смотрел, не мигая, на профессора, когда тот сказал, что если полететь в космической ракете и поставить часы с заводом на год, то, вернувшись на землю, обнаружишь, что прошло сто лет... Но потом пожал плечом и сказал: «Запросто». У него все за-

Утро

Михаил НАЙДИЧ

Вот и синее окно
стало розовым:
Поднимается рассвет
над березами.
И, куда-то торопясь,
люди, здания
Пылко требуют весны
и внимания.
Возле станции состав
взвизгнул тоненько,
Растянулся на путях,
как гармоника;

А воробушек лихой
и лирический
Прыгнул в лужу — в океан
Атлантический.
И пошел, пошел плясать,
сердце радуя.
Отряхнул одно крыло:
«Вот вам — радуга».
Прямо к солнцу полетел
по касательной,—
Он добьется своего...
Обязательно!

Свердловск.

просто. Это глупо, да? А вот представьте, что никто над ним не смеется, все его считают страшно опытным в жизни. Он одной девочке предложил поехать на стадион в Лужники. Ну, кажется, чего проще — сесть в троллейбус и ехать. А он остановил такси, «ЗИЛ»! Можете вообразить, широким жестом открыл дверцу и — пррашу! И этой девушке пришлось сделать вид, что для нее кататься в «ЗИЛе» — это тоже запросто. Она влезла, развалилась, и они покатили, как миллионеры.

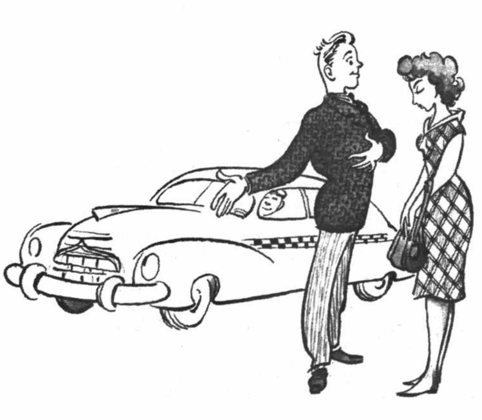
— Он получает повышенную стипендию?

— Да ну, какую там повышенную! Я прекрасно знаю, что у них в семье никаких бешеных денег нет. Мать — экономная женщина, считает каждый рубль, живут на отцовский заработок. Но иногда старшая сестра потихоньку от родителей дает ему денег, она его любит и балует. И вот он притворяется каким-то капиталистом: такси, кафе, пломбир с ликером. А когда сестрины деньги кончатся, великолепнейшим образом ездит в автобусе и ест котлеты в студенческой столовке.

— А девушка, которая ездила с ним на стадион, она в него влюблена?

Гунька слегка краснеет и говорит с ледяным равнодушием:

— Право, не знаю. Возможно. Но, в общем, это не имеет никакого значения. Я это говорю к тому, что очень трудно находить простые, правильные слова. И делать все так, чтоб было легко и хорошо. Вот, например, прошлым летом после экзаменов мы ездили работать в колхоз. Сначала некоторым ужасно не хотелось. Даже ходили в комитет комсомола, рассказывали о каких-то своих болезнях, прямо как пенсионеры! Да и некоторые из родителей отговаривали. Вы знаете, родители всегда боятся, как бы чего-нибудь не случилось. Но все-таки мы все поехали, и оказалось всё здорово! И вот там-то все и началось.



— Что именно?

— Да вот, у этого мальчика с этой... девочкой.

У нас с Гунькой происходит молчаливое соглашение. Гунька понимает, что я догадалась, но продолжает хитрить и рассказывать про «эту девочку». Так ей удобнее.

— Так вот, вы понимаете, он, этот студент, работал так здорово, на совесть, что от него даже никто не ожидал... Вообще завоевал страшный авторитет! А по вечерам мы ходили в лес, на речку, пели, хохотали, рассказывали всякие смешные вещи... Вот тоже и об этом: некоторые мальчишки любят рассказывать анекдоты. Иногда говорят такое, что просто ужас. При девочках. Надо бы что сказать? «Ребята, не смейте говорить гадости!» Но девочки боятся: вдруг их сочтут наивненькими. И поэтому хохочут, ржут, прямо как лошади, чтоб показать, что они все понимают и не стесняются. Глупо, да? Ну вот, они гуляли, купались, хохотали и в конце концов начали целоваться...

Гунька смотрит на меня вопросительно. Я отхожу к окну и смотрю во двор, чтоб ей свободнее было рассказывать.

— Ей, этой девушке, хотелось быть с ним нежной и ласковой, она сама мне об этом говорила... А он делал вид, что для него целоваться — это тоже запросто и даже что он видел кое-что получше, чем она...

— Ну и перестала бы с ним целоваться, если поняла, что он пустой парень.

— Да-а, легко сказать, — задумчиво говорит Гунька. — Нет, эта девушка не перестала. И потом он совсем не пустой, с чего вы взяли! Просто он на себя напускает. Ну, и она тоже начала делать вид, что она ужасно опытная в жизни, прямо какая-то кинозвезда.

— Значит, эта девушка, боясь показаться наивной и скромной, делала вид, что ей все трын-трава и море по колено? А если бы она посоветовалась со своей матерью?

— С мамой? — Гунька делает испуганные глаза, но удивительно ловко опять входит в роль рассказчицы. — Нет, это невозможно. У этой девочки очень хорошая мать, и она любит свою дочку больше всего на свете. Но если бы она знала обо всем, то при первой же тройке непременно стала бы попрекать: «Безобразие! Вместо того, чтобы учиться, думаешь о мальчишках, о поцелуях!» А если была бы уж очень раздражена, то сказала бы что-нибудь и похуже. А ведь про чью-нибудь любовь, все равно, какая бы она ни была, большая и красивая или такая нескладная, как у этой девочки, про любовь нельзя говорить грубые слова. Сразу становится стыдно и обидно...

— Гунька, но если ты... если эта девушка действительно любит и видит все недостатки любимого, разве она не может поговорить с ним ласково, по-хорошему?

— Он не признает ласково, по-хорошему. Ему нравится, чтоб было сногсшибательно! И он, наверно, воображает себя каким-то бенгальским тигром в любви!

— Гунька, но ведь если... эта девушка рассказывала тебе про него всякие такие вещи, то это значит, что она его больше не любит?

Гунька так грустно говорит: «Не знаю»,— что сомнений уже не остается, кто «эта девушка».

Я стою у окна и смотрю во двор. Играют ребятишки, старуха с кошкой пригрелась на солнышке. С улицы во двор быстро вошел юноша. Он куда-то очень торопится, бежит. Налетел на малыша, малыш заревел. Юноша наскоро стал его утешать, порылся в кармане, достал конфету и опять куда-то устремился. Лицо у него растерянное, мальчишеское, очень милое лицо. Уж этот во всяком случае не «бенгальский тигр». Гунька говорит:

— Только ото всех и слышишь: двадцать лет, двадцать лет — самый лучший возраст! И никто не хочет понять, до чего это трудно: и в первый раз в жизни узнавать и на всю жизнь запоминать целую уйму невероятно трудных вещей, и любить тоже хочется на всю жизнь, а получается вдруг на один семестр... И целоваться — как? То ли как Лоллобриджида или как-нибудь иначе? И нужно быть простой и естественной или, как мама выражается, когда сердится, выкозюливать? И как одеваться, когда мало денег, а хочется быть красивой и не получается?

Это у нее, с ее прелестным лицом, в ее двадцать лет — и не получается? Я тихонько смеюсь, она не видит, я стою к ней спиной и продолжаю смотреть в окно. Юноша перебежал через двор, наспех пригладил волосы и скрылся в дверях нашего дома. В прихожей раздается звонок.

— Наверно, мама, — говорит Гунька. — Ну, вы хоть меня поняли, как это трудно...

— Я пойду открою, — говорю я.

На пороге стоит тот самый юноша, который бежал через двор. Он смотрит на меня подозрительно, церемонно кланяется и цедит сквозь зубы:

— Прошу прощения, вы не знаете, Кун дома?

В прихожей появляется Гунька. Она неузнаваема: томный вид, прищуренные глаза, походка расслабленная.

— Привет, — небрежно говорит юноша. — Как жизнь?

— Лучше всех, — отвечает Гунька, как-то особенно выговаривая слова, в нос и с «э» оборотным.

— А я проходил мимо и решил заглянуть на минутку.

Это он-то проходил мимо,— мчался через двор со всех ног! Гунька делает томный жест тоненькой рукой:

— Пррашу!

Значит, вот это и есть — выкозюливать?

Снова звонок в прихожей. Я выхожу на площадку. Это Анна Георгиевна.

— Ну, как? — беспокойно спрашивает она. — Поговорили?

— Поговорили. Но к ней только что зашел ее приятель...

— Ах, это тот самый! — Лицо Анны Георгиевны становится напряженным и сердитым. — Ну, я сейчас им...

— Не надо. Давайте лучше пройдемся, если вы не устали. Погода такая хорошая! И тоже поговорим по душам. Только подождите одну минуточку, я надену пальто.

Я возвращаюсь в прихожую и вызываю Гуньку.

— Что? — спрашивает она шепотом.

— Ничего. Я сейчас пройдусь немного с мамой. А ты посиди с ним, но только попробуй без кривлянья, ладно? Я видела, как он торопился, бежал со всех ног через двор. И лицо у него было такое озабоченное. Никакой не тигр. Просто мальчишка. И, наверно, сам до смерти боится показаться тебе обыкновенным.

— Правда? — Голубовато-серые глаза просияли. — Но вы все-таки скажите маме, что все это ужасно сложно...

Мы с Анной Георгиевной выходим во двор. Небо синее, солнце ослепительное, ребятишки и птицы пищат и щебечут так, что звенит в ушах.

— Анна Георгиевна, почему вы назвали ее Кунигундой?

— Ах, не спрашивайте! Если бы сейчас, я назвала бы ее Наташей или Таней. Но двадцать лет назад, когда мне самой было двадцать лет, мне все хотелось чего-то особенного, изысканного, необыкновенного, не такого, как у всех. Дура была, вот почему!

— Это, к сожалению, бывает во всяком возрасте. Но, значит, вы понимаете, как трудно бывает в двадцать лет...

Ребятишки пестрыми шариками катаются по двору, смеются, плачут, кричат. У них все очень просто, им пока еще не двадцать лет.



Украинская сюита «Веснянки». В прыжке — А. Борзов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА СОЮЗА ССР. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР И. А. МОИСЕЕВ.

Фото Е. УМНОВА.

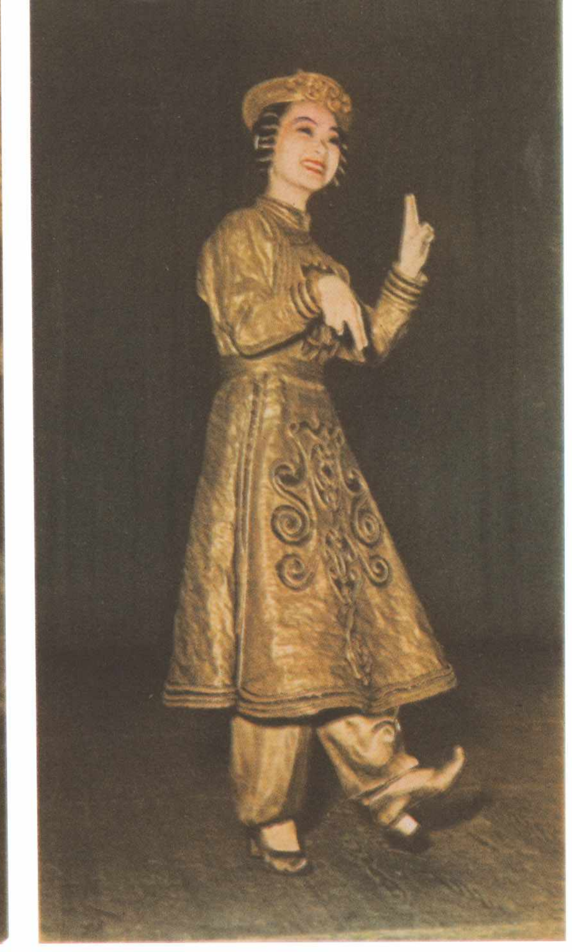


Танец казанских татар. →

Эпизод «Лето» из русской сюиты «Времена года».



Белорусский танец «Юрочка».



«Монгольская статуэтка». Исполняет Вивиан Пак.

Азербайджанский женский танец «Дясмалы». В центре — солистка Н. Кузнецова.

Триумф советских танцоров в Нью-Йорке



Артисты ансамбля отвечают на приветствие американских зрителей. По просьбе «Огонька» снимки переданы по фототелеграфу редакцией журнала «Лайф».

Похоже на то, что слово «присядка» войдет в английский язык без перевода, как это случилось со словом «спутник». В рецензиях на концерты Государственного ансамбля народного танца СССР нью-йоркские театральные критики пользуются им уже без пояснений, обычно в сочетании со словами «фантастически», «невероятно». Исчерпав весь запас хвалебных эпитетов, они признаются, что «это невозможно описать», «это надо видеть».

Интерес к выступлениям ансамбля у американской публики был еще задолго до его приезда. В первый же день предварительной продажи билетов у здания «Метрополитен-опера» под проливным дождем стояла очередь в несколько тысяч человек. Иллюстрированный журнал опубликовал серии снимков советских танцоров. Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» приветствовала приезд советских артистов передовой статьей, в которой желала им успеха и заявляла, что «культурный обмен такого рода поможет разрушить барьеры между народами». Другая газета сообщала в заголовке, что еще до выступления «русские танцоры стали сенсацией» в Америке. Этот необычайный интерес к ансамблю объяснялся многими причинами. Американцы вообще хотят больше узнать о стране, о которой им говорят так много противоречивого, а они, в сущности, ее так мало знают. Приезд ансамбля под руководством Игоря Моисеева — важное событие в осуществлении программы культурного обмена между США и Советским Союзом. А соглашение о таком обмене, подписанное в начале этого года, вызвало здесь интерес и сочувствие всего народа.

Наконец слава самих танцоров намного опередила их появление на этом континенте. Американцы слышали, что в Лондоне и Париже советские танцоры пользовались огромным успехом и что критики называли их искусство чудом. В чем же заключается чудо, здесь не было ни малейшего представления.

В Америке есть свои полузабытые народные танцы, но никому здесь не приходило в голову, что эти «примитивные» танцы фермеров и ковбоев — искусство и что их могут исполнять настоящие артисты на сценах лучших театров мира. Всех занимал вопрос: чем же все-таки удивят Америку русские?

То, что американская публика увидела на премьере Ансамбля народного танца, превзошло все ожидания.

Обстановка первого концерта была торжественной. Американский оркестр под управлением советского дирижера исполнил гимны США и Советского Союза. Зал украшен флагами двух стран. В ложах — дипломаты и нью-йоркские знаменитости. Публика в партере необычная. Двойная цена билетов на премьеру устроила соответствующий отбор. Модные смокинги, вечерние туалеты дам, блеск бриллиантов... Как встретит такая публика народные танцы Страны Советов?

Однако все сомнения рассеиваются, как только поднимается занавес. Медленный, величавый выход девушек, открывающих первый номер — «Русскую сюиту», вызывает взрыв аплодисментов, бурю рукоплесканий. Крики «браво» сопровождают каждый номер двухчасового представления, так что танцорам порой не слышен оркестр. Пожилые мужчины в крахмальных манишках и галстуках бабочкой, заложив пальцы в рот, как это делают мальчишки, свистят во всю силу легких: по существующему здесь обычаю так выражают высшую меру восхищения. Дамы стягивают перчатки — и аплодисменты становятся звонче. Кто-то в партере уже не кричит, а стонет: «О, что они делают!»

Бурный финал «Русской сюиты» танцорам приходится повторять дважды. По окончании программы зрители устраивают овации, каких, по свидетельству театральных критиков, еще не слышали старые стены «Метрополитен-опера». Семь раз поднимается и опускается тяжелый занавес. Когда наконец зажглись люстры, взволнованные зрители направились не домой, а к артистическому выходу. Они заполнили проезд между Бродвеем и Седьмой авеню и сорок минут ждали артистов. При их появлении публика снова рукоплещет Игорю Моисееву и танцорам. Зрители ищут запомнившихся им артистов. Кто плясал в красных штанах? Это Георгий Шляпников, который в «Гопаке» крутился таким вихрем, что можно было разглядеть только цвет его шаровар. «А где же тот, с усиками?» — спрашивают зрители о танцоре, поразившем всех в «Городской кадрили». Но усы Николая Косогорова остались в костюмерной.

Артисты, превосходно владеющие всем понятным языком искусства, не говорят по-английски и на все расспросы отвечают только приветливой улыбкой. Осаждаемые просьбами дать автографы, они отправляются на банкет, который устроил в их честь импрессарио С. Юрок. Там им предстояло встретиться со «звездами» театрального мира Нью-Йорка.

На следующий день приятно было перелистывать американские газеты. Со страниц улыбались лица советских девушек — артисток ансамбля. В печати в восторженных выражениях сообщалось о первом выступлении советских танцоров в Америке. Даже газета, в которой никогда нельзя было прочесть доброго слова о нашей стране, на этот раз писала: «Моисеев взял Нью-Йорк штурмом, покорил публику необычным динамизмом своих танцев, их молодостью, техникой, виртуозностью, выдумкой, красочностью, юмором».

Чем же восхищались нью-йоркские ценители хореографического искусства? Абсолютно всем: самими танцами, талантом руководителя и постановщика Игоря Моисеева, блестящим мастерством исполнителей. В финале «Русской сюиты» и ряде других танцев их поразили сила, задор и удаль молодых людей, которые на глазах у всех «покорили закон земного тяготения». В другом номере их изумила поэзия плавных, лирических танцев. Критики хвалили костюмы, называя их «симфонией танцевальных красок». Им доставил истинное наслаждение пронизывающий всю программу ритм «чарующей русской музыки». В концерте Ансамбля Моисеева «веселятся абсолютно все, не исключая билетеров», писали газеты.

Волна полной, неподдельной радости и веселья перешла через рампу зала и захватила зрителей. Артисты и публика как бы стали участниками общего праздника. Уверяют даже, что русские танцы губительно скажутся на сбыте витаминов и других средств, повышающих жизненный тонус.

На следующий день после премьеры публика на концерте была проще, а овации еще громче. Это повторяется теперь каждый вечер. За кулисы поздравить советских артистов и поблагодарить их за доставленное удовольствие приходят знаменитости. После первого концерта красивая дама бросилась целовать руководителя ансамбля. Несколько смущенный Игорь Моисеев осведомился, кто, собственно, его целует. «Марлен Дитрих»,— представилась знаменитая актриса. Известная в США меценатка Даулинг была так растрогана представлением, что пригласила к себе на завтрак всех артистов, даже не узнав, сколько их. А их без малого 100 человек.

В отель «Кларидж» на имя Игоря Моисеева приходит много телеграмм. Ньюйоркцы выражают в них свое восхищение концертами. Жители других городов, где ансамблю еще предстоит выступать, поздравляют с успехом в Нью-Йорке и сообщают, что с нетерпением ждут советских артистов у себя. Мэр Сент-Луиса прислал телеграмму, в которой почти умоляет Игоря Моисеева и импрессарио дать хотя бы один концерт в его городе.

Ансамбль пробудет в США и Канаде 10 недель и даст 70 концертов. Но уже сейчас можно сказать, что его выступления надолго оставят о себе добрую память в Америке, они помогут американскому народу ближе узнать советский народ и будут способствовать их сближению.

«На сцене «Метрополитен-опера»,— писала на днях одна нью-йоркская газета,— мы, как в капле воды, видим отражение динамизма, энергии, привлекательности, красоты и глубокую животворную силу населяющих эту страну наций, которые отличаются друг от друга традициями, костюмами, обычаями и искусством, но которым в равной мере присуще ощущение и объем радости жизни».

Театральный критик Луис Бианколли в газете «Нью-Йорк уорлд телеграм энд Сан» назвал танцоров ансамбля «высшим посланием, которое только могла прислать Россия. С их прибытием сосуществование приблизится на несколько внушительных шагов». А Уолтер Терри в газете «Нью-Йорк геральд трибюн» назвал выступление ансамбля «решительным поворотом к дружбе в советских и американских отношениях».

Л. ГРИГОРЬЕВ

Нью-Йорк, 21 апреля.
По телефону.

Нью-Йорк. В зале театра «Метрополитен-опера» на концерте Государственного ансамбля народного танца Союза ССР.





Ван Клибёрн и Лю Ши-кунь.

АККОРД

Галина **ШЕРГОВА**

Фото Е. Умнова.

Ван Клибёрн играл фортепьянный концерт b-moll Чайковского...

Перебирая в уме судьбы разноязыких музыкантов, гостей моего города, я снова и снова возвращалась к трем из них, к людям, с которыми встречалась в эти дни. Они были лучшими. Но их созвучие было символично еще и потому, что они говорили от имени трех великих народов современности: китайского, американского и советского. Это были пианисты Лю Ши-кунь, Ван Клибёрн и скрипач Валерий Климов.

И, может быть, оттого, что я думала о них, концерт Чайковского отразил в себе и эти три жизни.

Ван Клибёрн начал несколько непривычно — это не была монументальная поступь первых аккордов. Они двигались стремительнее, чуть легче, в шествии было что-то от полета. Как бы взбираясь все выше и выше, созвучия создавали ощущение, точно возводится какое-то небывалое здание, опоясанное колоннами из света. Этим зданием был земной мир, четкий и радостный, в котором люди рождаются только для созидания.

В этом мире, в разных его краях, в разные годы, в трех семьях музыкантов родились три мальчика.

Валя Климов жил на Украине. Его отец, скрипач,— ныне он главный дирижер Киевского театра оперы и балета профессор А. И. Климов — подарил сыну скрипку-восьмушку, и пятилетний ребенок узнал, как, сочетаясь, звуки рисовали удивительные картины. В шесть лет он поступил в Одесскую музыкальную школу. Через три года мальчик уже понимал, что вне музыки он не может существовать. Это случилось тогда, когда в школу приехал Д. Ойстрах. Лучшие ученики играли для него. Играл и Валя — старательно и проникновенно. Потом Ойстрах играл для детей. Валя слышал много музыки и до этого дня, но тогда с недетской четкостью ему вдруг открылось, что если он никогда не станет учеником этого человека — почти колдуна в музыке,— жизнь потеряет половину своей наполненности. Прошли годы, и он стал его учеником.

А где-то на юге Америки, в штате Луизиана, возле ног матери, играющей на рояле, сидел другой мальчик — Ван Клибёрн. Мать готовилась к концерту. Она играла Рахманинова. Ван слушал, боясь перевести дыхание, чтобы непостижимые лабиринты музыки вдруг не ускользнули от него. И еще потому, что само имя Рахманинова было исполнено для него всего самого лучшего и вдохновенного. Незадолго перед тем мать провела вечер у великого русского музыканта, приехавшего в Луизиану. На несчастье, Ван заболел, и она не могла взять его с собой. Мальчик лежал в кровати и рассказывал няне, как он представляет себе этот вечер. И потом всякий раз, когда Ван искал вдохновения, он просил мать рассказывать ему — снова и снова,— что говорил Рахманинов, как он играл.

Сам Ван играл с трех лет, а пятилетним даже выступал в концертах. Но мать не хотела делать из него профессионала, она просто желала ввести его в этот поющий и говорящий мир.

Он тоже шести лет поступил в школу. Обычную школу. Учительница спросила, умеет ли он читать. Он ответил тогда с наивной гордостью: «Я не знаю букв, но я читаю ноты с листа».

Дом певца Лю в Тяньцзине напоминал музыкальную шкатулку: из его открытых окон всегда неслась музыка, и соседи знали, что это маленький Ши-кунь заводит патефон. Позднее соседям казалось, что под окном Лю всегда щебечут воробьиные птенцы — это уже играл сам пятилетний Ши-кунь. Звуки неумелые, но озорные прыгали и ликовали под маленькими пальцами.

И он в шесть лет вошел впервые в здание музыкальной школы, не зная иероглифов, но читая ноты.

...Мы слушали, как играл Ван Клибёрн — теперь уже победитель Международного конкурса пианистов и скрипачей имени Чайковского. Разрозненные звуки первой части концерта, следующие за вступительными аккордами, выстроились, обрели контуры, и вот уже тема, легкая и победная, понеслась вперед. Вот встретились две противоборствующие темы — оркестра и фортепьяно,—и рояль победил. И в этих звуках, казалось, крепнут, формируются и мужают судьбы трех мальчиков.



Валерий Климов.

И вот забрезжила вторая часть концерта. Это был восход солнца, но звуки Клибёрна были так одухотворены и так бесплотны, что в них не было ни первых проснувшихся голосов птиц, ни говорка воды,— только рождение света, перелитое в музыку.

Может быть, таким занимался для Вана рассвет в Техасе, когда он проснулся после первой своей победы на фестивале штата. Тогда он тоже играл Первый концерт Чайковского и завоевал первый приз.

Ему было 12 лет.

Когда Валерию Климову шел двенадцатый год, воздух над его родной Одессой был разрезан свистом бомб, и Валя встречал начало дня далеко от дома — тогда все дни казались тяжелыми и щемящими сердце. Даже музыка, которую он не оставлял, не утешала.

А двенадцатилетнему Лю Ши-куню все рассветы казались солнечными, потому что в тот год он поступил в музыкальное училище. Тяньцзинь уже был освобожден от гоминдановцев. За гранью ушедшего дня оставались разрушенные деревни, притаившиеся у приемника отец и мать, слушающие голос свободной Яньани, японские зверства, рассказы о которых терзали воображение мальчика.

Оттого сейчас этот музыкальный рассвет звучал для нас, слушавших, как неминуемое утверждение покоя на земле.

...Над проснувшейся землей пронесся неожиданный жизнелюбивый вальс—казалось, он вобрал в себя необоримые, действенные мечты этих трех юношей. В них была мечта Вана, «похожая,— по его словам,— на фантазию», побывать в России и получить русскую медаль — награду, которая ему казалась важнее денег и славы. Он любил русскую музыку, его педагог Розина Левина окончила Московскую консерваторию с золотой медалью, а ее муж получил золотую медаль Московской консерватории, окончив ее вместе с Рахманиновым и Скрябиным.

Мне представлялись мечты Лю Ши-куня, услышавшего выступления советских музыкантов в Китае и всей душой тоже стремившегося в Москву.

В этой музыке была и осуществленная мечта Валерия Климова, который радовал друзей первыми победами на конкурсах в Париже, Праге и Берлине.

...Финал концерта ворвался в зал, неся на широких плечах аккордов торжество жизни. Тема украинской веснянки казалась доступной и открытой этому молодому американцу, будто она кочевала по степям Техаса.

И тогда невозможно было не думать о тысячах нитей, которыми связывала музыка народы, открывая их друг другу.

Тогда вспоминалась венгерская старая женщина; протиснувшись после концерта в Будапеште к Лю Ши-куню, который был одним из победителей конкурса имени Листа, она обняла его и, протянув музыкальную шкатулку, сказала: «Я дарю ее вам, как родному сыну». Она не знала, что «музыкальной шкатулкой» соседи звали когда-то дом маленького Ши-куня, она угадала это особым чувством единения в прекрасном.

Тогда мне виделось открытое окно в Карловых Варах, за которым Валерий Климов репетировал концерт Моцарта, и толпа чехов у дома. Опустив смычок, Климов вздрогнул от неожиданности: под окном разразились аплодисменты.

Слушая финал концерта, я видела восторженные лица москвичей, приветствующих Вана Клибёрна, и не могла не вспомнить трогательные груды фруктов, которые заполнили номер его гостиницы, присланные незнакомыми друзьями, когда пронесся ложный слух о болезни американского пианиста.

Торжествовал финал концерта Чайковского, знаменуя созвучие человеческих судеб на земле, в мире, где не должно быть места вою бомб над Одессой, Тяньцзинем, фермами Техаса... В этом мире человеческие судьбы разных стран должны звучать в едином оптимистическом, жизнеутверждающем консонансе, как прозвучали в Москве единым победным и согласным аккордом судьбы трех юношей, сыновей трех великих народов — Китая, США, СССР.

ВСХВ, 1958...

— Что нового будет на ВСХВ в 1958 году?

На этот вопрос директор выставки Б. Н. Богданов ответил корреспонденту «Огонька»:

— В павильонах полностью сменена экспозиция. Сотни железнодорожных вагонов доставили в Москву множество новых экспонатов, которые свидетельствуют об успехах передовых колхозов, показывают, как выполняются исторические решения партии и правительства о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС.

На усадьбе РТС — ремонтно-технической станции — стоят 184 новые сельскохозяйственные машины, которых не было в прошлом году. Рядом выставлены машины, рекомендованные колхозам для покупки. Здесь же показывается, как РТС должны помогать колхозам в эксплуатации техники.

Значительно шире, чем прежде, представлены достижения животноводства. Бесспорно, привлечет посетителей корова Красивая костромской породы, привезенная из совхоза Караваево. Ее годовой удой — 13 720 килограммов молока. Замечателен баран № 60000 ставропольской породы из совхоза «Советское руно». С него настригают 24 килограмма шерсти. Ее хватило бы на изготовление десяти мужских костюмов. Колхоз имени Ленина, Курганинского района, Краснодарского края, покажет хряка Самоучку крупной белой породы, весящего 418 килограммов.

На выводном кругу посетители увидят жеребца Форса, обладающего феноменальной силой: он возит груз почти в 23 тонны!

Уже вошла в традицию продажа с аукциона племенного скота. В этом году колхозы смогут закупить на выставке 300 бычков, 600 баранов, 300 племенных свиней.

В плодовом саду созданы образцовые участки коллективного сада для центральной нечерноземной зоны. Садоводы-любители смогут почерпнуть здесь много полезного, ознакомятся с новейшими механизмами.

Будут проводиться смотры отдельных культур: кукурузы, овощей, картофеля, бахчевых. Представившие лучшие образцы получат премии.

Новыми обитателями ВСХВ стали голуби. Для них по территории расставлено множество небольших голубятен. В прудах выставки разводятся бобры и нутрии. По водной глади скользят черные лебеди. В запрудной части выставки нашли пристанище дикие утки, куропатки, фазаны.

Территория выставки украшается. На зеленом партере площади Колхозов сооружается из цветов земной шар, вокруг которого будет вращаться макет советского искусственного спутника.

За последнее время выставку посетило более 30 миллионов человек, в том числе более миллиона экскурсантов — работников сельского хозяйства. В этом году приедет сто тысяч экскурсантов с разных концов страны.

Я. ЯКОВЛЕВ

Матч-реванш мирового шахматного первенства

Перед развязкой

Волнующие события произошли за последние две недели на Ленинградском проспекте и особенно в шахматном особняке на Гоголевском бульваре во время «переговоров» между Смысловым и Ботвинником. Даже видавшие шахматные виды болельщики должны были проявить максимум стойкости.

Шахматисты до сих пор помнят знаменитую 15-ю партию прошлогоднего матча. Это была встреча, в которой Ботвинник не сумел выиграть в отложенной позиции с двумя лишними пешками. Неудача, по мнению экспертов, тогда сильно повлияла на игру Ботвинника в заключительной части матча. Но прошлогоднее приключение бледнеет перед тем, что случилось в 15-й партии нынешнего матча. Ботвинник переиграл Смыслова в превосходно проведенной первой части партии. Многие думали, что при доигрывании «не долго будет музыка играть». Но тут случилось нечто совершенно необычное. Над 55-м ходом экс-чемпион мира задумался. Позиция была из простейших. Достаточно было и одной секунды, чтобы сделать два хода — почти любых! У Ботвинника же было в резерве 3—4 минуты. Поэтому нельзя сказать, что он стал жертвой цейтнота. Больше того: он спокойно налил себе стакан сока, поставил его рядом, облокотился о шахматный столик, потом выпил сок, опять облокотился. Вообще Ботвинник делал много различных движений, но не делал... ходов! Штальберг начал «кружиться» около доски и зорко следить за часами. А Ботвинник никак не реагировал. В чем дело? Его секундант мастер Г. Гольдберг с тревогой, даже с ужасом смотрел на доску, на часы, на маленький шахматный флажок. Казалось, он сейчас полным голосом крикнет: «Делайте же ход!» Но кричать нельзя. И... флажок упал!

Ботвинник впервые в своей жизни просрочил время.

В случае выигрыша этой партии матч был бы практически окончен. Но что делать? На пути к первенству мира шахматист должен уметь перенести самые трудные испытания, а иногда и проглотить горькую пилюлю.

После трехдневного перерыва в 16-й партии Ботвинник играл спокойно и уверенно. Только тонкая защита Смыслова дала возможность чемпиону закончить партию вничью.

Играя белыми в 17-й партии, Смыслов решил: «Сегодня или никогда!» Но в худшей позиции Ботвинник хорошо защищался и добился ничьей.

Шахматная Москва не скоро забудет 18-ю встречу. Она была самой волнующей и острой.

На 23-м ходу Ботвинник упускает возможность красиво закончить партию. Удивительно быстро Смыслов «любезно рассчитался»: на 26-м ходу и он не замечает смертельного удара, после которого Ботвинник должен был бы сдаться. В чем дело? Чем это объяснить? Игра идет уже 7 недель. Нервы напряжены до предела.

В творческом отношении 18-я партия была «комедией ошибок», а, как известно, в комедии ошибок решает последняя ошибка. Ее допустил Смыслов, который слишком рисковал, играл на выигрыш.

Нам кажется, что после этой седьмой победы Ботвинник не может быть в обиде на фортуну: она ему компенсировала все «мучения» в 15-й партии.

Развязка близка. Возможно, что когда читатель прочтет эту информацию, она уже совершится...

Сало ФЛОР



Слова В. ХАРИТОНОВА. Музыка А. НОВИКОВА.

Не для военных походов
Люди труда рождены.
Множится голос народов
Против войны!

Знамя труда поднимай!
Правда и сила у нас.
Крепче,
Крепче единство смыкай,
Международный
Рабочий класс!

Счастье в рабочие руки
Смело бери, человек,
Чтобы увидели внуки
Солнечный век!

Знамя труда поднимай!
Правда и сила у нас.
Крепче,
Крепче единство смыкай,
Международный
Рабочий класс!

Чтобы свобода повсюду
Землю обняла, как мать,
Надо рабочему люду
Дружбу ковать!

Знамя труда поднимай!
Правда и сила у нас.
Крепче,
Крепче единство смыкай,
Международный
Рабочий класс!



М. А. Шолохов в Праге. 1958 год.

ШО

А. СОФРОНОВ

Вот и последние кадры третьей серии «Тихого Дона». Седой, бородатый человек тяжело идет по донскому льду. Он в потрепанной шинели, за спиной у него солдатский вещевой мешок. В раздумье он останавливается возле небольшой полыньи, бросает в воду винтовку, горстью сыплет патроны. Звучно булькнув, уходят они на дно. Человек затягивает пояс, вздыхает, поднимает голову и идет к берегу. Вот уже и хутор Татарский. Потрескавшиеся стены некогда чистеньких, побеленных хат, повалившиеся плетни. И возле одного из них мальчик, в серой домотканой одежде с черными, звероватыми глазами. Это Мишатка. Бородатый человек наклоняется к земле, поднимает мальчика на руки и идет к родной хате. Григорий Мелехов вернулся домой. И невольно вспоминаются заключительные слова «Тихого Дона»:

«Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

И хотя этих слов в картине нет (а может быть, и жаль, что их нет), кажется, что они звучат с экрана. Так заканчивается киноэпопея, поставленная Сергеем Герасимовым по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Окончился сеанс, и в маленьком просмотровом зале Студии имени Горького зажегся тусклый свет. Но мы все еще сидим в креслах, не успев спрятать носовые платки. Снова и снова мы вместе с героями «Тихого Дона» пережили величайшую жизненную трагедию. Увидели, в каких муках, в какой борьбе рождался новый мир, тот мир, в котором сейчас мы живем, живут наши дети и внуки, те, кому познать старую жизнь теперь возможно только из рассказов и книг, из таких вот глубоких и правдивых, потрясающих по своей человечности, какой является «Тихий Дон».

Вы помните начало картины «Тихий Дон»? Молодая, вся в порыве, со скрытыми страстями Аксинья. Григорий Мелехов, беззаботный, болтая босыми ногами, верхом на дурашливом коне, загораживает тропку Аксинье, несущей воду на коромысле. Как давно все это было! Через сколько испепеляющих пожаров прошли души и сердца Аксиньи и Григория? И вот в начале третьей серии они встречаются снова на том же месте, возле прохладной донской струи. Но какие они уже другие — Аксинья и Григорий! Будто суховей опалил лицо Аксиньи, будто заморозили и посеребрили виски Григорию, он стал спокойней, рассудительней и сдержанней. Нет былого озорства, глубокие тени легли под глазами, он спокойно уступает дорогу Аксинье. Люди те же, но время другое, и люди уже в новом качестве, в ином состоянии. Все то же, и все не то! Но что бы ни было, не погас огонь великой любви этого мятущегося человека, запутавшегося в своих симпатиях и антипатиях, человека, отрезавшего себе пути к новой жизни. Суровой правдой овеяны эпизоды фильма, показывающие жизнь семьи Мелехова. Уже нет в живых Петра, и ослепленная ненавистью к красным Дарья убивает казака-коммуниста и сама гибнет в студеных волнах тихого Дона. А до этого, не выдержав всех испытаний, которые выпали на ее долю, умирает Наталья. Гибнет где-то в отступлении Пантелей Прокофьевич, умирает Ильинична. И только Дуняшка находит свое скупое счастье с Михаилом Кошевым, врагом ее брата, непреклонным в своей святой ненависти к контрреволюции.

Трудно выделить наиболее сильные эпизоды третьей серии «Тихого Дона». Можно только сказать, что все герои фильма настолько вжились в образы, что напрочь пропала малейшая неточность в произношении, в том донском словаре, каким говорят герои «Тихого Дона». Думается, что никто уже сейчас не упрекнет актрису Э. Быстрицкую в том, что ее Аксинья несколько «городская»; что же касается П. Глебова, то, как мне представляется, он идеальное воплощение замысла Михаила Шолохова.

В картине впечатляюще показаны последние судороги контрреволюции на юге России, «помощь» английских интервентов. Замечательны по размаху и по правде кадры бегства белых из Новороссийска, когда сквозь грохот артиллерии катилось могучее «ура» красных кавалеристов, скачущих наметом по новороссийской мостовой.

Еще и еще раз переживаем мы дни гражданской войны, возвращаемся в прошлое, видим это глазами сегодняшнего дня. Прошлое не забывается. Да и как могут быть забыты скупые слова пулеметчиков, с которыми автору этих строк, тогда восьмилетнему мальцу, довелось сидеть в ста-

ЛОХОВСКОЕ

нице Усть-Медведицкой за одним столом, и они делились с ним своим скупым красноармейским пайком и дарили содранные с белых офицеров серебряные ленточки, трофеи, добытые в суровой победе над контрреволюцией! Помнится, над садами и огородами, воя, летели снаряды, а за станицей Усть-Медведицкой, где курганы были опоясаны окопами, пахло горьким чебрецом.

Печаль, такая же горькая, как степная полынь, легла на лицо Григория Мелехова, оказавшегося ненадолго в банде. Это запомнится. Запомнятся сильные руки Григория, когда он в начале третьей серии поднимает к груди плуг. Запомнится последняя сцена, прямой разговор Михаила Кошевого с Мелеховым. Беспомощны слова Григория, говорящего, что он не верит ни белым, ни красным, а хочет хозяиновать да жить с детьми. Помотало, побросало этого сильного человека, так и не понявшего, что нет и не может быть середины, не может быть нейтралитета в классовой борьбе, в борьбе идеологий. И тот, кто на крутых этапах борьбы пытается увернуться, уйти в сторону, занять позицию нейтралитета,— тот, в конце концов, силой обстоятельств окажется в болоте. Середины нет!

После просмотра третьей серии «Тихого Дона» мне довелось беседовать с М. А. Шолоховым. Он только что вернулся в Москву из двухнедельной поездки в Чехословакию. Я сказал ему о том большом впечатлении, которое на меня произвела картина. Михаил Александрович, по привычке гладя свои рыжевато-пшеничные усы, говорил:

— Да, сильная картина. Безжалостная. Молодец Сергей!..

— А как, Михаил Александрович, исполнители?

— Хорошие, очень хорошие.— Шолохов говорил спокойно, не торопясь, видно было, что работа Сергея Герасимова и всего коллектива, снимавшегося в «Тихом Доне», ему очень по душе. Писатель не анализировал сильные и слабые стороны тех или иных героев картины; чувствовалось, что он воспринимал всю картину целиком.

И в самом деле, объединяя сейчас впечатления о всех трех сериях, приходишь к выводу, что Сергею Герасимову удалось во многом сохранить неповторимые особенности шолоховского таланта, его широту, правдивость, беспредельную любовь к родной земле, народную мудрость, изумительный по силе язык, внутреннюю красоту души русского человека. Сергей Герасимов не снизил остроту положений, не упростил сложность ситуаций, не улучшал и не ухудшал героев шолоховского романа. Герои «Тихого Дона» даны в борьбе, в движении, их характеры — в развитии, в связи с победой революции. Несмотря на то, что в картине есть жесточайшие сцены, правдиво показывающие борьбу с контрреволюцией на Дону, в ней нет перекоса в сторону натуралистических излишеств и «биологических откровений», мешающих иногда воплощению даже хороших замыслов.

То же можно сказать и об операторской работе. Внешне просто, без особых, «острых» кадров снята вся картина. Временами кажется, что вы, собственно, даже и не смотрите фильм, а читаете книгу «Тихий Дон», так все естественно и жизненно снято В. Рапопортом и его помощниками.

Глубока, эмоциональна музыка Юрия Левитина с ее тревожными лейтмотивами, настоящей народной широтой и напевностью.

Картина «Тихий Дон» — одно из самых крупных достижений советской кинематографии. Создание этого фильма свидетельствует об огромных возможностях нашего кинематографа в тех случаях, когда художники верны социалистическому реализму и неколебимо стоят на его позициях.

Иногда за рубежом нас спрашивают: «Любят ли у вас Михаила Шолохова?» На первый взгляд, вопрос праздный. Только люди, которым чужда русская культура, могут не любить Шолохова. Нет, Михаила Шолохова, писателя, стоящего во главе современной советской литературы, любит весь наш народ, миллионы читателей за рубежами нашей родины. Шолохова любят за его сыновнюю преданность родной земле, за его всепокоряющий талант, за глубокое знание жизни, верность Коммунистической партии. Широко известны слова Михаила Шолохова, произнесенные им в его речи на II съезде советских писателей: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством». Все мы помним, как горячо были приняты эти слова на писательском съезде.

Михаил Шолохов любим советским народом еще и потому, что он всей своей жизнью тесно связан с жизнью всех народов Советского Союза. Во время съезда писателей Казахстана у Михаила Шолохова нашлись самые сердечные слова, обращенные к братьям-казахам.

Нам довелось быть свидетелями, как принимали украинские писатели Михаила Александровича на своем III съезде в Киеве. Не только потому, что мать Михаила Александровича — украинка, о чем он с гордостью говорил своим товарищам, но и потому, что герои «Тихого Дона», «Поднятой целины» близки украинцам, белорусам, всем народам, так же как и русскому народу.

Замечательные украинские писатели Александр Корнейчук, Олесь Гончар и другие с гордостью показывали тогда Михаилу Шолохову достопримечательности Киева. Шолохов побывал в Киево-Печерской лавре, любовался окрестностями Киева. Долго стоял он у памятника великому сыну украинского народа Тарасу Шевченко. У него всегда находились сердечные слова поддержки молодым украинским писателям и поэтам. Он находил время, чтобы побывать у офицеров, студентов, побеседовать, поговорить с ними.

Вернувшись недавно из Чехословакии в Москву, Шолохов говорил:

— Отсюда лечу прямо в Ростов: Виталию Закруткину исполняется пятьдесят лет. Это большая дата в жизни писателя — пятьдесят лет. Хочу побыть в этот день вместе с Закруткиным и ростовскими друзьями.

Все интересует Михаила Шолохова. С глубоким уважением относится он к культуре каждого народа. Известно, что он побывал в Скандинавии.

— Мне понравились Швеция и Норвегия, красивая природа, народ, хорошие там люди,— говорил он.

Михаил Александрович тепло вспоминал о своем пребывании в Чехословакии. Мы уже наслышаны о той исключительно торжественной и сердечной встрече, которую оказали чехословацкие друзья советскому писателю. Известно, что Михаил Александрович Шолохов поехал в Чехословакию с семьей, чтобы отдохнуть в санатории в Карловых Варах.

— Удалось отдохнуть, Михаил Александрович? — спрашивали мы его.

— Конечно... Правда, в санатории я был мало... Отдых семье нужен... А я был очень рад, что меня приглашали к себе в гости рабочие, писатели, ученые, партийные деятели Чехословакии. Какой народ, какая красивая страна! Какие красивые люди!..

Как и двадцать лет назад, так и сегодня почтальоны приносят бесчисленное количество писем, посланий от избирателей писателю, депутату Верховного Совета Михаилу Шолохову, который всегда старается помочь в просьбах тем, кто к нему обращается.

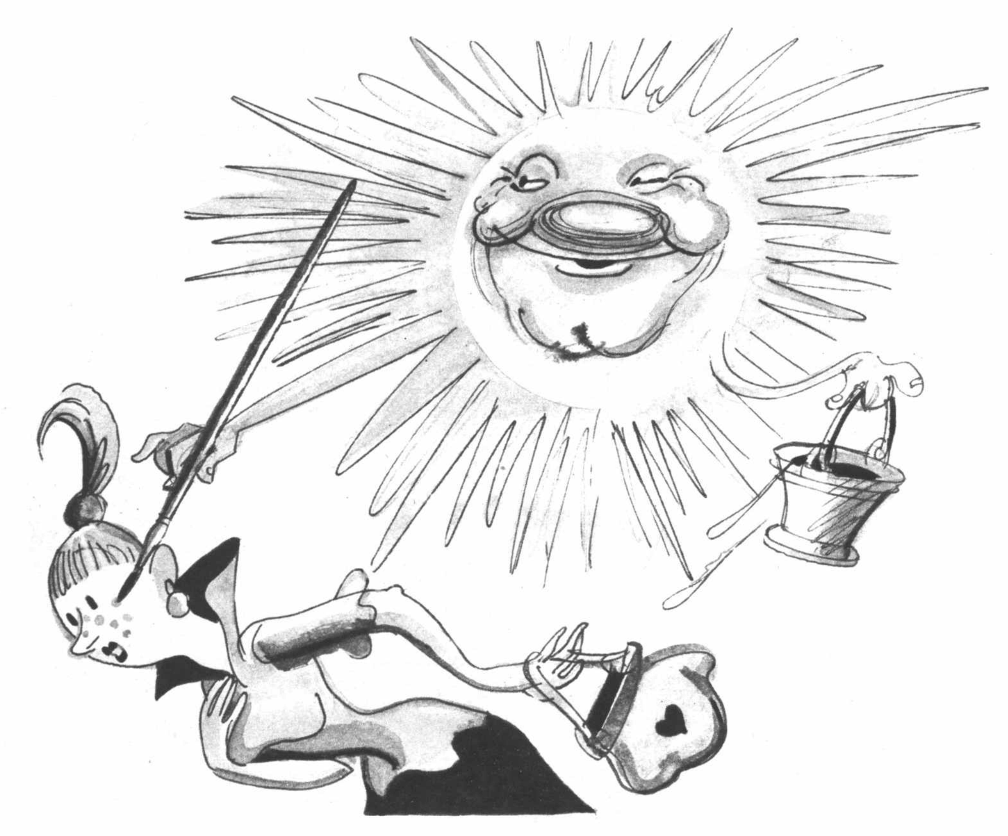
Раздумывая о путях нашей литературы, читая книги последних лет, видишь, насколько широко творческое влияние Михаила Шолохова на развитие всей советской литературы. Многие десятки, сотни писателей и деятелей искусства учатся у Шолохова проникновению в глубины человеческой психологии, в которой он всегда находит сильные стороны. Шолохов не просто поднимает и возвышает человека, его человек всегда действует, и в этом жизненном действии Шолохов умеет видеть окрыляющие человека порывы и поступки. Эти черты, присущие творчеству лучших советских писателей, роднят Шолохова со всей нашей многонациональной литературой. Могучий шолоховский талант оказывает благотворное влияние на современную прозу, поэзию и драматургию. Писатели учатся у Шолохова созданию сильных, сложных, могучих характеров. Можно безошибочно сказать, что это **шолоховское** с каждым годом будет все больше и больше влиять на развитие всей советской литературы и искусства, на творчество многих зарубежных писателей, ибо в шолоховском творчестве заложена великая любовь к Человеку.

М. А. Шолохов в Киеве. Слева направо: М. Бажан, М. Шолохов, В. Закруткин, О. Гончар, Е. Поповкин. 1954 год.

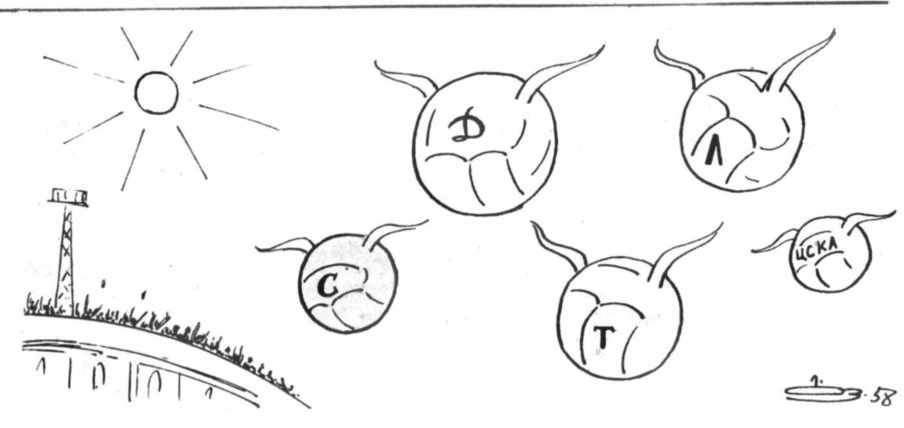
Фото Н. Козловского.



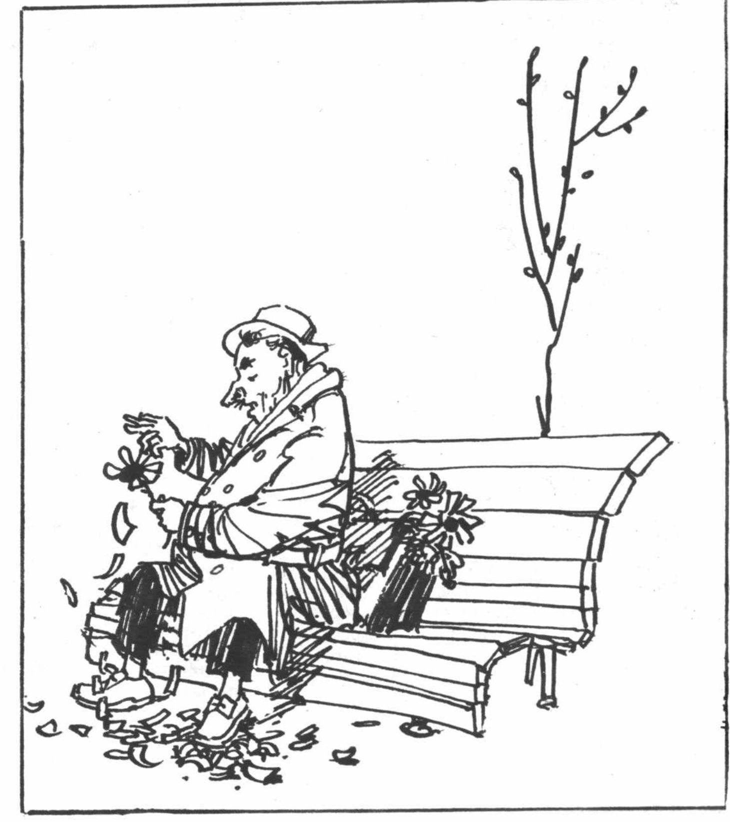
Веселая



Солнце рисует... Вл. Гальба.

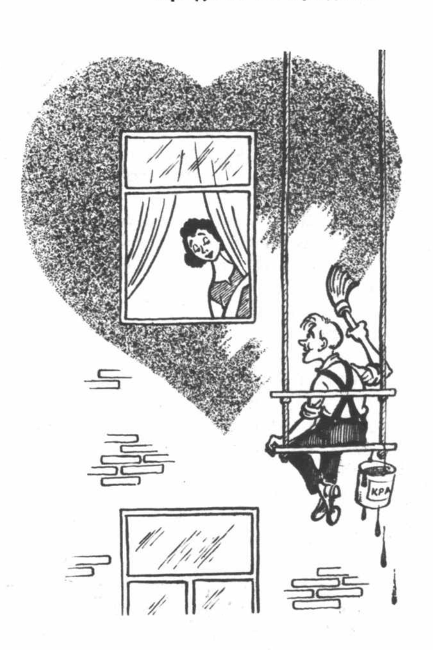


Мячи прилетели. Г. Пирцхалава.

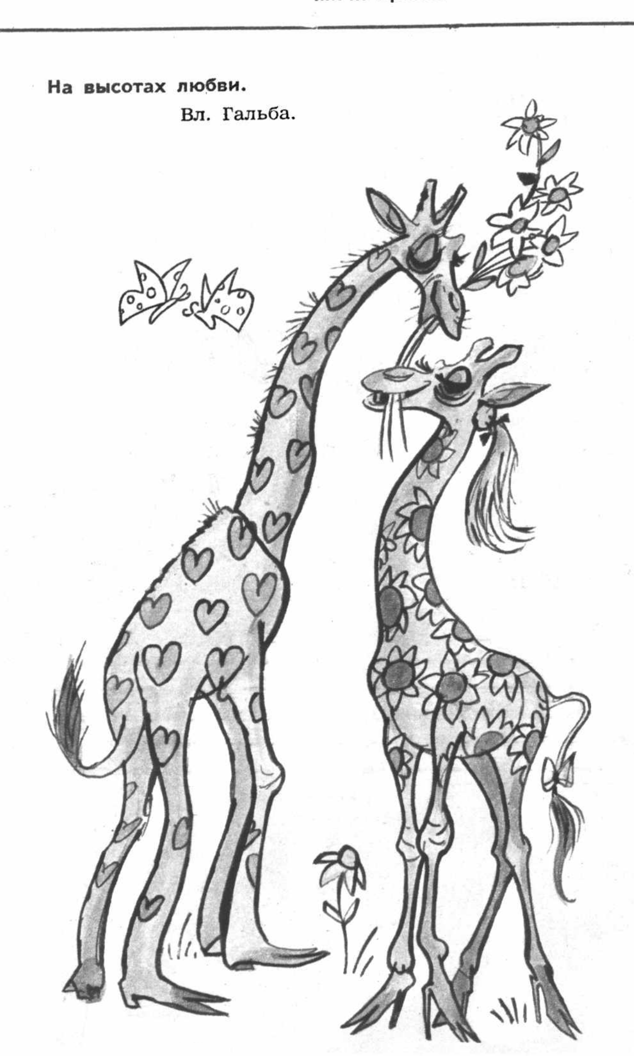


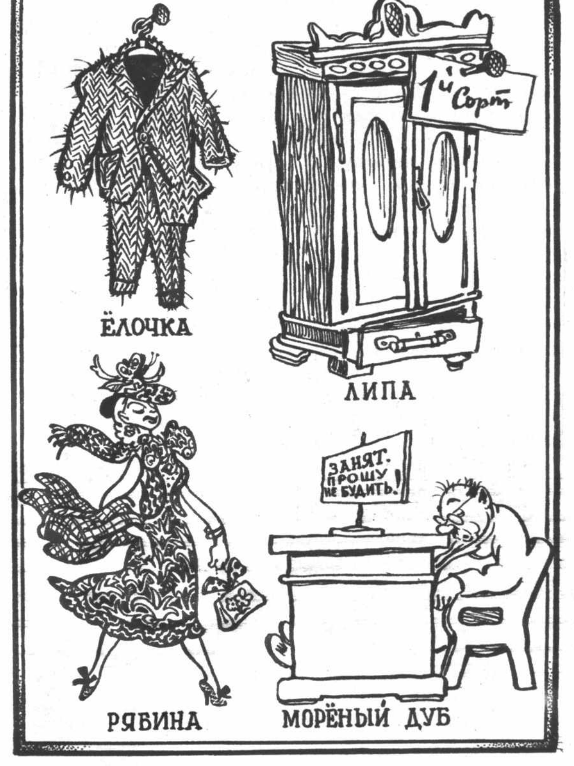
Придет... не придет...

— Доброе утро!
Г. Оганов.



На высотах любви.
Вл. Гальба.





Неделовая древесина. Л. Самойлов.



Возмездие.
К. Невлер.

Капель



Пришла! А. Каневский.



Амур-хулиган.
Вл. Гальба.

«Ура! Она сказала, что любит меня!»
И. Массина.





Модный вырез.
Н. Лисогорский.



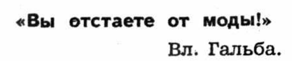
Грамотный кот.
А. Зубов.



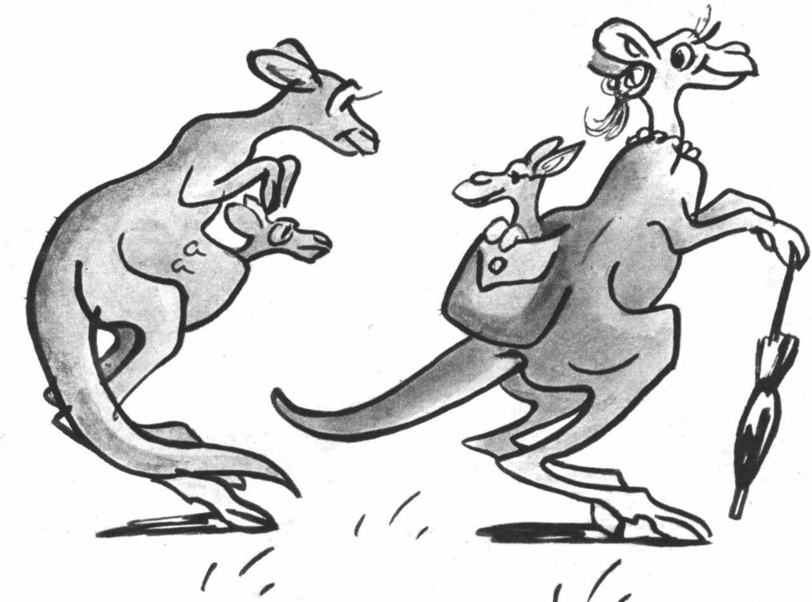
Ковер-самолет.
М. Ушац и К. Невлер.



Маринист-надомник. Вл. Гальба.



«Вы отстаете от моды!»
Вл. Гальба.



Студенческая весна

Л. и Ю. Черепановы

Не любит...

Изолировался...

Предмет тщательного изучения.

Не теряя времени.

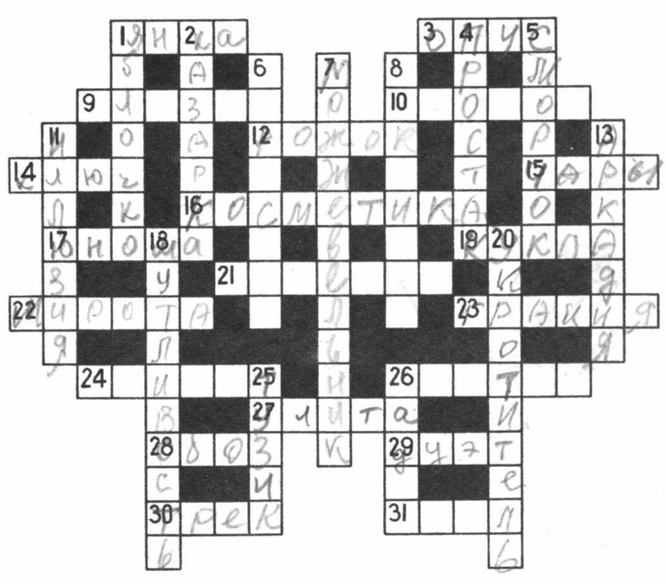
Первые шаги новосела.

В ночь перед экзаменом.

Любит...

Когда товарищ распределился на север.

КРОССВОРД



По горизонтали:

1. Белорусская плясовая. 3. Сочинение. 9. Ягода. 10. Аллегорическое произведение. 12. Народный духовой инструмент. 14. Родник. 15. Обаяние, пленительность. 16. Парфюмерия. 17. Молодой человек. 19. Игрушка. 21. Русская гармоника. 22. Одна из географических координат. 23. Изящество. 24. Доброе пожелание. 26. Соцветие. 27. Ключница в пьесе А. Н. Островского «Лес». 28. Басня И. А. Крылова. 29. Пение в два голоса. 30. Велодром. 31. Старинная испанская монета.

По вертикали:

1. Пляска моряков. 2. Перелетная птица. 4. Амплуа актера. 5. Ранневесенний гриб. 6. Дневная бабочка. 7. Вечнозеленый кустарник. 8. Советский кинофильм. 11. Обман чувств. 13. Идиллическая страна. 18. Склонность к веселью. 20. Артист цирка. 25. Маленькая шлюпка. 26. Порыв, увлечение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 17

По горизонтали:

5. «Сыновья». 6. Самокиш. 10. Цирик. 11. Скорпион. 12. «Париж». 13. Марш. 15. Способ. 16. Стог. 17. Паторжинский. 18. Подполковник. 21. Корт. 22. Карась. 23. Гойя. 28. Халва. 29. Прививка. 30. «Обрыв». 31. Людмила. 32. Артерия.

По вертикали:

1. Андижан. 2. Пьеса. 3. Марна. 4. Аксаков. 5. Скиф. 7. Шкив. 8. Кооперирование. 9. Животноводство. 14. Шпангоут. 16. Спиннинг. 19. «Воевода». 20. Айсберг. 24. Балл. 25. Шпиль. 26. Маори. 27. Дыня.



Изошутка Вл. Гальбы.

На вкладках этого номера репродукции картин А. Мыльникова — «Пробуждение», В. Черникова — «Донецкие шахтеры», Г. Савинова — «Университетская набережная» и четыре страницы цветных фотографий.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ. **Редакционная коллегия: В. Ф. БАРЫКИН, А. С. ВАРШАВСКИЙ, Н. Н. КРУЖКОВ, Л. А. КУДРЕВАТЫХ (зам. главного редактора), Л. М. ЛЕРОВ, Е. Н. ЛОГИНОВА, И. А. УРАЗОВ.**

Адрес редакции: Москва, Д-47, ул. «Правды», 24. Рукописи не возвращаются. Оформление В. Епанешникова.

Телефоны отделов редакции: Секретариат — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-39-07; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 3-38-67; Литературы — Д 3-31-83; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 3-38-65; Юмора и сатиры — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-35-48; Оформления — Д 3-38-44; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

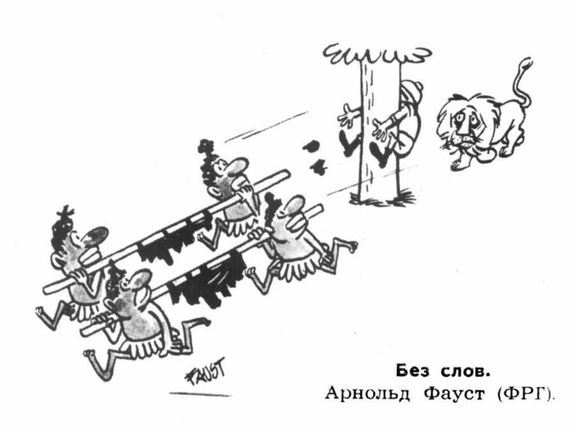
А 03519. Подписано к печати 23/IV 1958 г. Формат бум. 70×108¹/₈. 2,5 бум. л. — 6,85 печ. л. Тираж 1 400 000. Изд. № 433. Заказ № 941.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, Д-47, ул. «Правды», 24.

А в НАТО по-прежнему ниже нуля...
Ю. Ганф.

«Весенние птицы» над Западной Европой.
Бор. Ефимов.





Без слов.
Арнольд Фауст (ФРГ).

На первой странице обложки:
рисунок **Б. А. Кондратьева.**



Цена номера 3 руб.

Рисунок итальянского художника **Рауля Вердини.**